

Иван ОБРАЗЦОВ

# КЕНОТАФ

Малый роман

*Памяти Вадима Габриэлевича Шершеневича,  
поэта, драматурга, литературного теоретика,  
сына депутата I Государственной Думы*

## Глава 1

1941 год, первая половина сентября

*За окном проплывала степь.  
Степь до горизонта.*

До горизонта какая-то цветастая трава с зелёно-коричневыми подпалинами стеблей и редкие вкрапления тонких берёзовых рощиц. Наверняка там, среди степного простора и берёзовых островков, шумел сентябрьский ветер, наполненный сухими травяными ароматами.

Здесь же, в интендантском вагоне, пахло выпитой водкой, нарочитыми маринадами и папиросным дымом, и, в общем, это был классический запах дорожной вагонной пьянки, хотя все казались совершенно трезвыми.

Железнодорожный состав эвакуированных двигался в пространстве, но внутри у интенданта III ранга Вадима Габриэлевича Шершеневича застыла стоячая, недвижимая вода немоты. Словно рухнуло, рухнуло вдруг с неба огромное серое облако непогоды и провалилось ему в душу, застыв на поверхности ледяной коростой.

Оглядываясь вокруг, он, как ему казалось, обнаруживал каждый раз, что это не его личное, это общее ошаление и пепелище.

Серое облако покрыло всю землю. Пепельность, привкус горечи чувствовались в каждом разговоре, тревога сквозила в каждой брошенной фразе.

Движение состава пульсировало где-то в районе позвоночника и опускалось к почкам.

Вся эта дорога, всё это перемещение. Какая-то суетливая, мрачная атмосфера безысходности и неожиданного очумелого ступора.

Они с Марией ехали в сибирскую эвакуацию. Ощущения поездки переживались чувствами совершенно слыльными, каторжанскими.

Пытались говорить о литературе, искусстве, каких-то ококультурных делах, но всё как-то не клеилось. Всё казалось мелким, ничтожным, ненастоящим. Как будто нет и не было никогда всех этих литератур и искусств. И вообще, сами такие слова казались какой-то надстройкой, наростом, чем-то абсолютно «искусственным», «вычурным», «эклектичным», «придуманым», «нелепым» и многим другим, и многими другими выдуманым недоразумением.

А реальность была вот здесь — рядом, в соседних вагонах. Шинели, ватники, баулы с вещами, крики и ругань, вымотанное молчание, прерывистое забытьё среди запаха пота и подзуживающих тело вшей, среди вечного неустройства и промозглого сквозняка. И во всём этом сидели люди, люди, которые что-то в себе несли, прятали свои надежды на будущее и уже боялись строить планы, но строили их по привычке.

— Товарищи артисты, кипятик брать будете?

— Что? Ах, да, будем, конечно будем.

— Только сразу берите, а то сейчас узловая, там не до вас будет. Народу будет ни пробиться, ни протолкнуться, так что уж извините, вы-то ведь до конца, едете? —

дежурный вопросительно смотрел на сидящих в купейном отделении.

— А куда все едут, кто к нам может подсесть? — отозвалась на слова дежурного Мари. — Вроде наш вагон сразу укомплектован был полностью?

— Так известно ж куда, война ж. Вон ребята-то сельские все насобирались, кто с чем, воевать все хотят с фашистом. Эти за каждый фронтовой зацепиться норовят. Ну а кто-то и наоборот, как от чумы бежит подальше. Эти за наш цепляются, боятся, никак не хотят нигде оставаться, их сразу отличишь. Нынче же в Сибирь-то по доброй воле некоторые бегут, не то что раньше-то. Вот так, кто как.

После объяснения дежурного на душе стало только нелепей и хуже. Вадим почувствовал, что штиблеты у него на ногах превращаются в клоунский наряд. Как-то он ощущал неуместность, что ли, себя в штиблетах, штиблет — в вагоне, всего отдельного их интендантского вагона на пространстве страны. И снова очередное нелепое, совершенно бессмысленное слово «культура».

«Культура одежды» — что за чушь собачья!

Шинель, грубое сукно, сапоги и телогрейка, бабий шерстяной грубой вязки платок — вот он, суровый, настоящий мир, это и есть мир новый и реальный, это и есть настоящее простое новое искусство!

Вот там, в «неинтендантских» вагонах «не их» состава слово «искусство» казалось другим — живым и тяжёлым. Там жила весомость, значительность, но уж никак не рядом со штиблетами.

Вадим вдруг на секунду почувствовал эту жёсткую земную эстетику бытия: «Господи, так ведь так же!» — пробормотал он.

Принесли кипяток.

После стакана кипятка мысли двигались то ли легче, то ли более разогрето, как после медицинского массажа оживают и разгибаются мышцы спины.

*...Вы тихо расслышали смешное рыданье  
Мутной души, просветлевшей до дна.  
...Не верила ни словам, ни метроному сердца,  
Этой скомканной белке, отданной колесу!..*

Вспомнилось старое, своё.

«Ну да, ну да, вот тебе, дорогой артист, и принцип импрессионизма», — поэт усмехнулся про себя, даже развеселился. Но веселье было заметно только самому себе, внешне всё выглядело чинно и пристойно, как в театральной ложе.

Степь.

До горизонта проплывающая степь.

Словно сила тяготения здесь была намного больше, чем в иных пространствах земли. Словно здесь хранилось что-то, что тянуло к земле, тянуло невероятно сильно. И земля здесь становилась свободна и чиста до самого горизонта.

До края взгляда — волнистая степь.

Холмы как волны бескрайнего океана земли — сплошная шарообразная геометрия планеты. Во всей своей шаровидной бесконечности движения, в полноте великолепия она невидима для маленького человеческого взгляда.

Но даже такая, ограниченная чертой горизонта, волнистая даль ошарашивала простотой и потенциальной неизмеримостью.

«Океан земли — какая немислимая метафора!» — всплыло в голове хотя и банальное, но всё же в чём-то гениальное наблюдение.

«Поразительно, как порой полезно путешествовать», — ещё одна глупая и пустая мыслеформа.

Говорят, что Барнаул, это город на краю. Это город, за которым ещё есть небольшой острог эпохи Петра Великого, а после только вверх, где резко в небо вонзаются горы Алтая.

Те гранёные рериховские картины, острые их тени и грани — всё это за Барнаулом, а Барнаул — это край. Край земли. Край притяжения. Край, после которого в зенит взмывается Беловодье.

Горные пики, словно указатели — каменные пальцы, тыкающие туда, куда и должно только человеку подниматься.

Наверное, надо написать об этом поэму, а ещё лучше что-то драматургическое. Да, да, и Машенька моя сыграет вот этакую валькирию, зовущую вверх, в бой!

Да, да, точно!

«Алтайский край», до Вадима только сейчас дошёл смысл названия этой административной единицы. Алтайский край, это край неба и край земли, это точка их соприкосновения, дальше которой стоит Алтай горный, Алтай высотный, Алтай рериховский.

Край в данном случае обретал для приближающегося к нему поэта значение не столько топонимическое или географическое, а становился сакрально-значимым, почти ритуальным действием, знаком приближения. Произнесение самого слова «край» и являлось сейчас ритуалом приближения к неким непроизносимым смыслам.

И вот я еду на этот край, на край земли и неба. И, может быть, я что-то там обрету. Может быть, я еду туда с какой-то более высокой целью, чем эвакуация?

Тут же в голове мрачно всколыхнулось — край жизни.

Нет, нет, — отмахнулся.

Да что ж это ты, о каком крае жизни может идти речь, жизнь, возможно, вот только сейчас даёт первый серьёзный бой мещанскому бытию. Только сейчас, возможно впервые, вся эстетика имажинизма стала осмыслена заново, ну или начинает приближаться к истинному осмыслению.

Напишу, напишу теоретический труд.

Да, да, да.

Обязательно напишу.

В голове постоянно что-то ритмично колыхалось. Неприятное чувство неосуществлённого замысла, ожидание какого-то итога.

Итак, итог, да, да, какой же будет он?

Итогом размышлений на данном этапе стал пустой стакан кипятка.

Он повертел стакан в руке, поставил на подставку, бросил взгляд на свои ноги и достал папиросы.

Надо бы ещё вот о простом русском пролетарии написать что-нибудь для первых постановок на месте.

Простой русский мужик, он на поле и заводе где-то должен быть, у него нет уютного кокаинового мирка.

Мужик чёткий, реальный и простой — имидж в высшей степени слова.

Состав дёрнулся и остановился.

Завопило вдалеке паровозное лужёное горло.

Ал-та-айская! Узлова-ая! — пронеслось от дежурных по вагонам.

## Глава 2

### Наши дни

Будка администрации кладбища была похожа на серый двухэтажный сарай для хозяйственных нужд. Большим вопросом являлось пребывание внутри данного помещения живых людей. Всё же надпись настойчиво утверждала, что именно здесь находится кто-то из живых, наблюдающих за вечным упокоением мёртвых.

Поднявшись по деревянной, прилепленной вдоль стены как-то наспех, лестнице и открыв обитую толстым войлоком дверь, человек оказывался внутри тесного, пропахшего разогретыми много раз нехитрыми блюдами, помещения.

— Здравствуйте! — рядом с кирпичной печкой возился с невообразимо закопчёнными кастрюлями здоровый угрюмый мужик. Он бросил косой взгляд и ушёл в угол, где стоял сколоченный из грубых досок стол.

— Простите, вы не могли бы мне подсказать...

С дивана встала толстая грязная тётка и вопросительно посмотрела на вопрошающего.

— Здесь, где-то на кладбище, есть могила поэта. Шершеневич, Вадим, э-э-э... Габриэлевич. Вы не подскажете...

Неожиданно, словно из-за угла в комнате появился худой потрёпанный мужичок:

— А, эт я знаю, пойдёмте, счас быстренько покажу.

## Глава 3

### 1941 год, середина сентября

Каждый день был суетлив и нелеп, начиная с самого первого дня их приезда в город. Товарные эшелоны и эшелоны с эвакуированными людьми — всё смешалось на барнаульском вокзале в одну кричащую, гремящую, говорливую и шумную массу.

В конторе, где оформляли документы эвакуированным артистам, пришлось стоять в огромной очереди, состоящей из бородатых мужиков, тёток с баулами и чемоданами, детей, в больших картузах и людей в плащах и шинелях. Сентябрь в дни их приезда выдался дождливым и прохладным.

Когда подошла очередь, Вадиму пришлось три раза повторять по слогам свои фамилию и отчество, и когда в третий раз женщина с суровым взглядом записала опять

неправильно «Ширшиневи́ч Вади́м Габриэ́лович», то он уже не стал её поправлять. Тем более, что его имя вызывало подозрительную недоверчивость у любого советского товарища, с того времени, как заработала мощная агитационная машина государства. Вадим про себя решил, что в тесном кругу конторских пролетариев повторяться его полному имени-отчеству лишний раз не стоило.

На каждом углу висели плакаты, которые призывали к бдительности и объясняли, что иностранные шпионы, враги государства и прочие вредители могут быть везде, но особенно активно прячутся в тылу. Народ предпочитал перегнуть палку, чем недогнуть, а на этом фоне «Шершеневич Вадим Габриэлевич» звучало как настоящий компромат, как верный признак того самого «иностранного шпиона» и «вредителя».

«Интересно, вот это сейчас так «гнут верную линию», а что будет дальше?» — подумалось Вадиму в тот момент.

После он понял, что здесь, в Барнауле, на московского писателя смотрели как на большого диковинного жука: обыватели — с любопытством, литераторы — с опаской и подозрительностью. В глазах местных поэтов, иногда казалось, так и написано: ты то сюда на время, а нам зачем здесь кто-то «большой», мы сами здесь большие.

Всё, что было здесь можно, это ненавидеть прошлое и надеяться на светлое будущее. Ни больше, но и ни меньше. Впрочем, всё это «общественное» мнение было таким же уже как минимум последние две тысячи лет. Было таким же здесь или везде, где угодно, куда дотягивалась рука человеческого просвещения.

Вадим шагнул за порог регистрационной конторы. Улица копошилась и пахла. Он уловил приторный запах разложения, сладковатый и кислый. Так пахла плоть разлагавшихся животных. На углу конторского здания лежал труп бродячей собаки. Кто-то пнул раздувшийся живот дохлого пса и из него вывалились внутренности. Даже от порога конторы Шершеневич видел копошащихся в собачьих внутренностях желтовато-коричневых опарышей.

— Здравствуй, край света, — пронеслась в мозгах очередная банальная, но отчаянно-яркая мыслеформа.

## Глава 4

### Наши дни

Удивительно, что от первого года войны в Барнауле сохранилось довольно большое количество печатных документов, но почти ничего по поводу культпросвета, того, которое происходило с помощью литературного слова.

Архивные фонды местных музеев и библиотек полнились газетами, журналами, афишами и прочими бумажными свидетельствами общественно-культурной жизни региона. Но среди всего этого многообразия совершенно невозможным оказалось обнаружить те записи, что касались чуть ли не ежедневных выступлений на заводах и в госпиталях бригады литераторов, в числе которых был и Вадим Шершеневич.

Конечно, газета «Алтайская правда» напечатала несколько раз имя поэта и теоретика имажинизма, но каждое такое упоминание оставалось редкой библиографической вставкой в массив тыловых передовиц. Тем ценнее оказались эти вставки, ведь через них хотя бы получилось восстановить ушедшую реальность через побочные, случайные и параллельные упоминания фактов, отсылающих к другим статьям и документам.

Намного сложнее дело обстояло с посмертным памятником на Булыгинском кладбище. Здесь мне пришлось выбирать между фантазированием местных сочинителей и двумя зафиксированными фактами.

Факт первый происходил из области отчётной и звучал следующим сухим образом: «Памятник из чёрного лабрадора был установлен в 1962 году вдовой поэта Марией Михайловной Волковой, при финансовой поддержке Литфонда Союза писателей СССР».

Факт второй, хотя и выглядел так же убедительно, но принадлежал уже пересказу пересказа: «По воспоминаниям представителя местной союзписательской ячейки Марка Иосифовича Юдалевича, памятник привезли в Барнаул из Москвы и установили на месте полуразрушенной к тому времени кирпичной плиты, а помощь в установке камня оказывал зампреда Барнаульского горисполкома А.И. Мельников».

Сухая справка из архива Государственного музея и краткая, осторожная в своей скудости, запись от местного члена советского писательского союза — вот все конкретные факты о могильном камне.

Кстати, для тех, кто знал местные литературные имена и истории, факт номер два в моём списке казался даже немного удивительным. Дело в том, что упомянутый представитель советского писательского союза Марк Иосифович Юдалевич прожил

почти целый век и оставил после себя огромное письменное наследство. Но всё оно являлось совершенно выверенным в своей идеологической лояльности к той эпохе, в которую создавалось.

Например, о своей личной встрече с Борисом Пастернаком он не оставил ни строчки воспоминаний. По крайней мере, официально такие записи до сего дня неизвестны, а о факте их встречи мы знаем только из личных рассказов Юдалевича и некоторых присутствующих на той встрече. Или о том, что будучи пионером, он участвовал в работах по уничтожению здания главного православного соборного храма Барнаула, Марк Иосифович написал покаянное стихотворение уже во времена новейшей российской истории, когда за это никаких последствий быть не могло.

Тем удивительнее, что об участии в установке на могиле Шершеневича памятника из чёрного лабрадора Юдалевич оставил официальное воспоминание в ряде печатных источников. Правда, надо отметить, что установка памятника происходила под непосредственным контролем Союза советских писателей и местного горкома партии, что означало для участника полную безопасность.

В общем, перефразируя народную мудрость, на безрыбье и факт, зафиксированный Юдалевичем, вполне сгодится.

## Глава 5

### 1941 год, конец сентября

— Васька, давай сюда вот носи декорацию, — клуб для мероприятий по культурному просвещению сотрудников УНКВД по Алтайскому краю расположили в совхозном здании Барнаульского района «Докучаево». Здесь же рядом работники ходили в баню. В здании даже магазин имелся продуктовый. — Давай сюда бандурину эту ставь!

— Кадимыч, ну ты чё орёшь-то, вишь же, какая неловкая, — бригада работников-инвалидов мостила на сцене большой фанерный транспарант для фона. На транспаранте крупно горели алые рифмованные строки, в резком пике переходящие в изображение поднимающегося в небо советского истребителя:

*Мы в любом бою смертельном  
Вражью силу отразим,  
Ни вершка земли советской  
Никому не отдадим!*

По стенам зала для выступлений висели фотографии и плакаты, рассказывающие о мирных и воинских подвигах героической Красной Армии.

— Ты мне поговори ещё, хрен моржовый! — Никодимыч, невысокого роста крижистый мужик с крупными ладонями кузнеца, погрозил кулаком здоровой руки в сторону бригады.

— Да они, поди, к вечеру только и придут, смотри, на улице-та не пойми што, развезло это вон, дорогу-то. Они, мож, на пароконной будут, оно тогда ещё успеют, а на авто точно никак.

— И чего теперь, ты спать полежишь, што ли, а? — Никодимыч глянул исподлобья, испытливо и ищуще всматриваясь в возящихся с транспарантами работников.

— Так оно вааще и поспать, мож, лучше-п было, — потихоньку пробормотал кто-то из мужиков.

— Ты чего там сказал, падла, на фашиста, што ли, поработать зовёшь, а? — слух у Никодимыча был отменный. Не напрасно уже столько лет бригадами управлял, знал, что услышать такие упаднические разговоры надо сразу, а то расползётся быстро зараза ленивая и не нагонишь потом ни за день, ни за месяц. А строжился он жёстко, но чаще так, для порядка, ибо уверен в большинстве своих был бригадных, надёжные они, уже с десяток лет вместе по разным артелям то с тем, то с вон этим из инвалидов трудились.

— Кадимыч, там же вроде стройгазовские должны были подтянуться?

— Должны, должны, нету их никого, там завал у мужиков. Ты вона спать собрался, а ихние по два часа да пересменка, оборонку крепят здесь, предприятия налаживают.

— Дак а мы чего, сидим, што ли. Мужики, давай поднажмём, а то Кадимыча-то расстроили вон, — бригада захмыкала.

— Ты порядок-то знай, а то расхорохорился, смотрю, — но лицо Никодимыча подобрело.

У Никодимыча все знали резон нацистов из тыла бить, трудом хотя бы, но бить. Жена его приняла одну сиротку ходить в госпитале, Валюшку. Как-то прикипело у них сердце друг к другу само собой, вот и ходила, как за дочкой.

Своих детей бог не дал, а в гражданскую Никодимыча сильно в руку ранило,

хорошо хоть гнулась немного, а так воевать больше заказано стало. Вот он всю силу оставшуюся сейчас и расходовал на тыловых совхозных делах.

А к осени в тыловые госпитали повезли не только раненых, но и деток с Украины, Белоруссии, Прибалтики, из центральной части страны. Вот Валюшка та из Мелитополя аж эвакуирована была, малая совсем, четырёх лет даже не было. Жена Никодимыча при госпитале санитарила, да готовкой, стиркой там всякой помогала. А детишек принимали всем скопом, почти всех их война везла сюда сиротами, вот Валюшку и приняла жена Кадимыча-то.

Ходили как могли. Старались и накормить, и обуть. Другие тоже в семью брали сирот, как своих растили. И то правда, ведь стало так, будто каждый ребёнок не сирота вовсе, а вот, здесь, живой и, значит, свой тоже, советский.

Так и говорили: мы здесь зачем? А чтоб там, мужики да парни наши чтоб фашиста долбили. Они ж за спину не могут опасаться, спина-то должна прикрыта быть. Вот всем миром и крепим спину-то эту, чтоб и теплым поддеть им на себя было что, и покушать чтоб тоже послать передачи-то — всего надо отправить на передовую, а детки что, они ж на то и детки, чтоб растить их по беде-то нам надобно.

На улице второй день моросило.

\*\*\*

За окном моросил мелкий дождик, хотя погода была тёплая. Но по причине грунтовости дороги и раскатанности подъездной к совхозу колеи добраться до клуба было делом затратным по времени и по усилиям.

Везли всех довольно простым и понятным способом — на телеге, на подводе.

Вообще, первые поездки даже как-то приободряли. После столицы и всех урбанистических удобств ехать на подводе казалось чем-то фольклорным, народным, облегченным вариантом приобщения к истокам. Само собой, что все эти «истоки» выглядели эдаким толстовским хождением в народ, а народ с усмешкой поглядывал на артистов, и в хитром, таком ленинско-народном прищуре так и звучало насмешливое «барин-то опять чудит».

Первый месяц пребывания в Барнауле, если брать отдельные короткие эпизоды наблюдений, был похож на туристические впечатления прибывших на лечебные воды господ и увидевших впервые, что булки пекутся из перемолотого в муку зерна, а квашеная капуста готовится в бадьях бабьими красными от холода руками.

Повседневность же жизни в эвакуации оказалась довольно бытовой и нетеатральной. Мария постоянно жаловалась на отсутствие «элементарных удобств», без которых, по её словам, «совершенно невозможно нормально готовиться к выступлениям». Особенно раздражало Мари хождение пешком.

— Что за отношение, — закатывала она глаза, выражая невыносимость бытия и извечные муки творческой личности, вынужденной касаться своей возвышенной душой грязной рутины. — Любка эта вот, она же совсем невозможная. Где она такое находит, что пахнет так, хоть святых выноси! Подселили нас к чёрту на рога, рядом с театром разве нет жилья приличного?!

— Мари, время-то не такое, как раньше, война же идёт, вот и трудно всем, потерпеть необходимо, ничего не сделаешь.

— Ничего? А другие что же, они тоже терпят, да? Только они что-то рядом с театром терпят, а тебя сюда, в эту невообразимую, — она на секунду запнулась, подбирая подходящее слово, артистично развела руками, как бы наглядно, без слов демонстрируя свои аргументы: — Вот в это вот, в... хату какую-то тебя отправили. Ты, Вадик, между прочим, интендантской службе не посторонний, у тебя медицинская операция была, режим положен подходящий, а здесь воняет постоянно разным.

## Глава 6

1941 год, октябрь, Покров

— Товарищи, сегодня, когда полчища немецко-фашистских захватчиков посмели ступить на нашу свободную советскую землю, мы будем и делом, и словом бороться с нацистским гадом! Потому что наши слова не расходятся с делом! Как сказал товарищ Маяковский, «я перо приравнял бы к штыку!» И вот, к штыку сегодня перо приравнено!

Сегодня перед нами выступают товарищи из Москвы — советские писатели. Слово представляет товарищу Шершеневичу, который расскажет нам, как в годы империалистических нападков на нашу советскую страну рабочих и крестьян, в годы организации нашего народного советского общества, они вместе с товарищами

Маяковским и Есениным вносили свой вклад в общее дело победы пролетариата!

Товарищ Шершеневич расскажет, как советские поэты ковали словом дело и крепили твёрдыми лозунгами ленинские заветы!

Поприветствуем товарища Шершеневича!

Зал дружно зааплодировал.

— Здравствуйте, товарищи. Сегодня нам важно понимать, что поэзия имеет огромное значение и должна в самых различных проявлениях применяться на пути к полной победе над захватчиками. И как уже отметил товарищ, наша задача понимать, как поэтическое слово влияет на нашу повседневную жизнь, как оно укрепляет нас в едином порыве.

И особенно важно здесь в тылу сохранять твёрдость и крепость духа, то чувство надёжности, которое позволяет нашим доблестным бойцам Красной Армии знать, что мы работаем здесь для фронта, для победы, что мы всегда будем не покладая рук помогать нашей доблестной Красной Армии одерживать победы по всем фронтам.

И если нам трудно, то мы преодолеем трудности, а художественное слово станет поддержкой и вдохновит каждого советского человека встать на защиту Отечества к штыку, лопате, станку, к тому трудовому и воинскому подвигу, на который нас позовет сердце и ленинская партия.

Из зала вскинулся человек:

— Товарищ Шершеневич, а вы Ленина встречали?

Насколько болезненным и даже постыдным являлся данный вопрос для выступающего, этот человек из зала знать, конечно, не мог, и спросил он разве что из искреннего желания прямого спора.

Вадим внутренне поморщился и вскользь вспомнил, как в 20-м году ему выпала «честь» стать объектом недоуменного внимания Ленина. Речь шла о сборнике «Лошадь как лошадь», что из-за «лошадиной» темы в названии попал на склады Наркомзема для распространения среди крестьянского населения. Вот об этом «вопиющем факте» Ленину и сообщили, заодно предоставив на руки вождя мирового пролетариата экземпляр «лошадиной» книжечки. Последствий никаких для поэта Шершеневича этот случай не принёс, разве что анекдот пошёл по рукам в «известных кругах» и сильно позабавил знающую интеллигентскую публику. Злые языки говорили, что Ленина этот анекдот тоже развеселил.

— Да, друзья, мне приходилось работать с товарищем Есениным, иногда вступать в поэтические диалоги с товарищем Маяковским, и однажды, на митинге мне довелось повстречать товарища Ленина. Владимир Ильич был очень занятым человеком и думал постоянно о деле, потому нельзя сказать, что мне удалось с ним как-то близко по-человечески познакомиться, но слушать его выступления мне доводилось.

Он даже читал мой сборник стихотворений в 1920-м году и ничего плохого не сказал, — Шершеневич нарочито засмеялся, незаметно поглядывая на реакцию зала. Зал внимательно слушал. — Владимир Ильич умел заечь сердца своей речью. Он говорил всегда твёрдо, прямо и уверенно, умел видеть самую суть дела и передать свою мысль очень ясно. И в этом для меня, пожалуй, главное свойство его слова.

Мы, поэты, сегодня стараемся так же нести словом советскую правду, показывать самую суть дела. А суть дела проста — помогать фронту и стоять тем самым вместе с нашей героической Красной Армией на страже нашей советской страны.

— Товарищи, давайте попросим товарища Шершеневича прочитать нам что-нибудь из своего творчества! — зал вновь зааплодировал, но показалось, что на этот раз аплодисменты звучат как-то без особого воодушевления, скорее из вежливого снисхождения.

Вадим чувствовал, что как-то не так он всё это сказал. И вот эта смесь желания сказать крепко, твёрдо, ясно, как в былые времена, и опасливой осторожности сказать что-нибудь не то и не так не давала ему нужных слов.

Неловкая смесь полюсных, разрывающих на два фронта чувств отнимала, крала у него необходимые слова. Подло и как-то исподтишка, незаметно выкрадывала из каждого слова то ли эмоцию, то ли интонацию, то ли какую-то важную идею, суть, главный образ.

И опять Маяковский. Было такое ощущение, что их спор, их поэтическая непримиримость не закончатся никогда. Что один всегда будет проигрывать по очкам, но никакого окончательного поражения в забытии нокаута не получит.

Отвратительная игра, иллюстрация боя, но уж точно никакая не поэтическая битва сквозила в мелкой ряби внутреннего волнения мира, в биении сердца. Причём совершенно было не важно, кто в этом споре прав, более того, Шершеневич где-то глубоко в себе ощущал горечь осознания, что уже проиграл.

Проиграл сразу же после того рокового выстрела Маяковского в своё сердце. Именно то поэтическое высказывание в рабочем кабинете поэта, та записка с

пафосными прощаниями, растиражированная в узких кругах, этот жест отчаяния — именно это стало нокаутом, который Вадим, кажется, только сейчас осознал. Только сейчас тот удар стал доходить до просыпающегося после обморока сознания поэтического оппонента.

Маяковский предпочёл пожертвовать даже собой, поставил на кон абсолютно всё и, кажется, сорвал банк.

Вадим встал, и безумное отчаяние охватило его. На лице ничего не отразилось, лицо каменело недвижимостью. Но внутри бушевал вдруг вспыхнувший яростный огонь. Нет, товарищ Маяковский, не всё ещё потеряно, мы ещё не доиграли — я ещё жив!

Он не читал стихов, чтобы вот так, на публику, уже очень давно. Казалось, что когда-то огонь был окончательно похищен из его сердца, но выяснилось, что это не так. Оказалось, огонь тлеет где-то там, внутри, и сейчас зашевелились, заворочались массы поэтического вещества, задрожала короста, и, вырываясь наружу, пошла горячая лава прошлых стихотворений.

Нет, нет, Маяковский, это ещё не всё.

Публика насторожилась, настолько медленно и грузно вставал этот, казалось бы, худощавый человек. Словно в какой-то миг он преобразился, не изменившись внешне совершенно. Словно по залу от него разошёлся гудящий, мрачный, электрический заряд, такое стосильное напряжение.

Шея, плечи, кисти — всё было в нём резким, контрастным, невыносимо изломанным, и здесь же выпирающий, крупнеющий на лице корабельный нос. Поразительными оставались глаза — детские и даже чуть испуганные глаза человека, не до конца понимающего всё безумие происходящих с ним внутренних преобразений.

— Я. Прочту что-нибудь. Из раннего, — раздельно, с упиранием на каждый слог произнёс Шершеневич. «Из раннего» на последних звуках сглохло и оттого прозвучало чем-то вроде «изранено».

Вадим Шершеневич начал:

— Украина, — и это был не самый главный стихотворный текст, но иного у него для этих людей сейчас не оказалось:

*Уже рубцуются обиды  
Под торопливый лёт минут,  
Былым боям лишь инвалиды  
Честь небылицей воздают.*

*Уже не помнят иноземцы  
Тех дней, когда под залп и стон  
Рубились за вагоны немцы  
И офицеры за погон.*

*И белый ряд своих мазанок  
Страна казала, как оскал,  
И диким выкриком берданок  
Махно законы диктовал.*

Голос Вадима, на первом четверостишии глуховатый и ровный, постепенно рос и ширился, разворачивался в пространстве и вот, ударившись о стены, вернулся к поэту. Он прислушался к этому эху собственной поэтической речи и ожил. Шершеневич говорил, а люди в зале становились частью общего потока поэтической декламации:

*Войны кровавая походка!  
Твой след — могилы у реки!  
Да лишь деникинскою плеткой  
Скотину гонят мужики.*

*Да, было время! Как в молитве,  
В дыму чадил разбитый мир,  
О, украшцы! Не забыть вам  
Эйгорновский короткий пир!*

*Когда порой в селеньи целом  
Избы без мертвых не сыскать,  
Когда держали под прицелом  
Уста, могущие сказать...*

Зал совхозного клуба стал упругим рупором из стен, от которых голос отражался и становился ниже, но оттого ещё звучнее, звучал глуше, но оттого ещё торжественней:

*Когда под вопль в канаве дикой  
Позор девичий не целел,  
Когда петух рассветным криком  
Встречал не солнце, а расстрел!*

*Тогда от северных селений  
Весть шепотом передалась,  
Как выступал бессонный Ленин  
В кольце из заблестевших глаз.*

*А здесь опять ложились села  
В огонь, в могилу и под плеть,  
Чтоб мог поэт какой веселый  
Их только песнями воспеть!*

*Ребята радостно свистели,  
К окну прижавшись, как под гам  
Поручик щупал на постели  
Приятно взвизгивавших гам.*

И вдруг голос резко изменился. Шершеневич почти кричал в лица этих людей. Через него шли те самые вопли и красные пожары, он горел чёрным огнём войны какой-то потусторонней, нездешней, и зал придавило тем бездновым огнём, жаром из глубины подземной кузнечной печи. Древнее горное производство этих мест заговорило в живущих здесь людях голосом поэта Вадима Шершеневича:

*Уж не насунуться нескладно  
Над баррикадой воле масс...  
Уж выклеван вороной жадной  
Висящего Донского глаз.*

*Как снег, от изморози талый,  
Перинный пух летел и гнил.  
О, дождь еврейского квартала  
Под подвиг спившихся громил.*

Голос поэта хлестал зал, словно погонял дикого степного коня. Степь и горные далёкие пики Алтая вдруг зазвучали в сердцах сидящих в зале так пронзительно, что люди готовы были вот прямо сейчас встать и отдать жизнь в бою, работать у станка до полного изнеможения. По крайней мере, в эти миги звучащей поэтической речи именно такие чувства отражались на лицах слушателей.

А Вадим словно заново видел вспыхнувшую вторую мировую, где в невообразимой гуще грязи и крови, бездушности и зверства он — студент, ушедший на фронт.

По-мальчишески ушёл, а вернулся весь изнутри проеденный ядовитыми парами человеческой мерзости. Он вспомнил, как корреспондент «Утра России» небрежно записывал зверства немцев и, дожёвывая шоколад, расспрашивал в госпитале одну несчастную. Вспомнил треск зуботычин, раздаваемых солдатам, не желавшим идти в цепь из окопов под пулемётный огонь. И вот, опять немцы, опять кровавое месиво, но на этот раз уже пришли сюда, хотя разницы в этих походах туда-сюда не было никакой. А жирные и сытые корреспонденты будут так же сидеть с куском шоколада во рту и описывать зверства хоть красной, хоть немецкой, хоть междупланетной армии — им никакой разницы никогда не было и не будет. Но может вот сейчас он говорит правду? Так хотелось в это верить:

*И воздух, от иконы пьяный,  
Кровавой желчью моросил,  
Уже немецкого улана  
Сменяет польский кирасир.*

*Как ночь ни будет черноброва,  
Но красным встать рассвет готов.  
Как йод целительно багровый —  
Шаг сухопутных моряков.*

*Кавалерийским красным дымом  
Запахло с севера, и пусть!  
Буденный было псевдонимом,  
А имя подлинное Русь!*

Русь, древняя и злая, великодушная к врагам и беспощадная к своим детям вставала из недр души, самой своей историей восстанавливала на смертный бой с проклятыми, извечными врагами рода человеческого.

Русь языческая и христианская, Русь советская — всё сейчас соединилось в одном воззвании, и голос Шершеневича пытался пробиться к этому воззванию, стать к нему причастным.

Смысл каких-то литературно-изысканных тонкостей оказывался здесь ничтожной, дешёвой надстройкой, тихим писком о чём-то мелком, суетливом, расчётливом, о какой-то там подсчитанной стихотворной строчке. Только опорные точки слов «Русь», «баррикада», «Дон», «бой», «крававый и багровый» — только это слышалось сердце каждого в зале, только это было сейчас подлинным содержанием поэтического призыва:

*Быть может, до сих пор дрались бы  
Две груди крепкие полков,  
Когда б не выкинули избы  
На помощь красных мужиков.*

*Был спор окончен слишком скоро!  
Не успевал и телеграф  
К нам доносить обрывки спора  
И слишком разъяренный нрав.*

*Как тяжело душой упрямой  
Нам вылечить и до конца  
Утрату дочери и мамы  
Иль смерть нежданную отца,*

*Как трудно пережить сомненья,  
Как странно позабыть про сны! —  
Но как легко восстановление  
Вконец замученной страны!*

И вот интонация резко спала, и прозвучало усталое, сброшенное с плеч, проговорённое напоследок:

*И ныне только инвалиды  
В кругу скучающих ребят  
О вытерпленных всех обидях,  
Немного хвастаясь, скорбят!*

Люди в зале молчали. Возможно, публика была ошеломлена, возможно — ошарашена.

Советская агитационная машина давно канонизировала Маяковского и Есенина, стихи которых уже жили неким житийным приложением к биографиям поэтов. Но чтобы вот так, в такой час и вдруг оказалось, что можно читать стихи. Оказалось, что стихи можно читать неесенинским, немаяковским, а другим, но таким же убедительным голосом. Здесь никто к такому не подготовился.

Редко кто мог на память читать стихи, пускай даже широко разагитированных поэтов, но каждый человек в зале безошибочно знал этот ритм призыва, чёткую динамику маяковского лозунга — тяжёлая фонетическая поступь по лестнице, спуск, а после резкий взлёт на самый пик пафосного воззвания. И вот, живой человек звучит этим голосом общего порыва. Здесь, перед ними звучит нечто большее, чем какой-нибудь рассказ штатного агитатора.

Люди вдруг прикоснулись к тому, что не принадлежит, просто не может принадлежать какому-нибудь Маяковскому, Есенину и вообще кому угодно одному. Но принадлежность и первого, и второго, этих двоих, государством назначенных поэтов, вот к этому голосу, к этому худому, с большим носом и ушами человеку никаких сомнений сейчас не вызывала.

Судя по всему, этот человек мог быть тем, кто создавал всем пролетарским поэтам основу. И хотя люд в зале сидел простой, но сердце не обманешь, а оно говорило за поэта Шершеневича. Сердце слышало одно, что вот, здесь и сейчас, перед ними стоит живой человек, поэт — факт неоспоримый, неотменимый и ошеломительный.

— Спасибо, товарищ Шершеневич, — ведущий осторожно начал хлопать. Зал словно ожил. Аплодисменты поднимались, поднимались и поднимались со своих мест. И вот весь зал, каждый человек стоял и аплодировал поэту.

## Глава 7

### Наши дни

Стоя перед памятником, поймал себя на странном ощущении, что установлен он как-то странно, словно случайно. Походив по кладбищу, я понял, что он один повернут лицевой стороной к выходу и стоит как-то вполоборота, словно при установке торопились поставить и быстро уйти от этого чёрного монолита.

Кроме того, никакой могилы перед камнем не просматривалось, только ровная земля и тропинка наискосок через то место, где должен был находиться холм. За спиной могильного камня шла такая же тропинка наискосок, пересекая ту часть, где обычно можно предположить холм на случай отсутствия одного перед лицом памятной надписи на надгробии.

Списать этот факт на прошедшие годы никак не удавалось, ведь вокруг были более старые могилы с вполне сохранившимися холмами. Были могилы тридцатых годов с остатками надгробных плит, но и там, под плитами, сохранились холмы.

Кто-то говорил, что это кенотаф, но вот почему появились такие разговоры, об этом сейчас уже вряд ли можно что-то выяснить. Говорили, что когда на установку памятника привезли официальную вдову поэта — Марию Михайловну Волкову, то она просто не смогла вспомнить место могилы и только примерно махнула на неопределённый участок: «Кажется, вот где-то здесь...»

По большому счёту, разницы принципиально нет никакой. Кенотаф ли, могильная ли плита — всё одно, память о ком-то жившем.

Вон даже мужичок этот сухощавый, то ли могильщик, то ли какой подсобный кладбищенский сторож, он же мне дорогу вполне чётко показал, не плутая. Знает, значит, он. Хоть один он точно знает, так и то хорошо.

Ну, вроде бы как хорошо.

В уме всплыла никак не связанная с мыслями и будто слышанная где-то фраза, почти афоризм: «Интеллигенция — это совсем не синоним интеллектуала». Захотелось что-то к ней добавить, но только воображаемо плюнул и вздохнул с безнадёжным видом.

## Глава 8

### 1941 год, октябрь, память Иверской иконы Божией Матери

*Ты на Малотобольской, а может, в проезде Крестьянском,  
С пролетарием вьёшься, ругая суму и тюрьму.  
Эта ночь повторяется, дикая и полупьяная,  
И уносит тебя, без креста, в необшитом гробу...*

По прибытии в Барнаул Вадима Шершеневича с женой — певичкой и актрисой московской оперетты Марией Михайловной Волковой — разместили проживать недалеко от бывшего Нагорного кладбища, в частном доме на улице Денисова.

Хозяйка дома Люба оказалась по-своему доброй, но эстетически сложно переносимой бабой по причине всегда вьющегося вокруг неё запаха потных подмышек и хлорной извести. Какие-то женские мускусность, заботливость и неустойчивость соединялись в Любе в сложно передаваемый винегрет запахов. Вадиму теперь казалось, что именно так пахнет слово «пролетарий».

*Ты на Малотобольской, а может, в проезде Крестьянском,  
С пролетарием вьёшься...*

«Гражданин-тавариш Ширшиневич» — Любина манера обращаться к Вадиму тоже коробила, но ничего поделать с этим было невозможно. В её «гражданин», то ли в интонации, то ли в какой-то сибирской фонетике при произношении, но совершенно отчётливо угадывалось подразумеваемое, немного презрительное и агрессивное, «господин». Видимо, так она невольно выражала своё чутьё дворянских корней Шершеневича, которые у него были, как говорится, налицо прописаны.

Марию Михайловну Люба невзлюбила с самого начала, но это было закономерно и взаимно — уж сильно разнились их представления о том, какой должна быть приличная женщина. Потому они старались не обращаться друг к другу вообще никак, а если возникала такая необходимость, то это всегда было сухое «хражданка» и «Люба».

*Ты на Малотобольской, а может, в проезде Крестьянском...*

В голове часто крутились строчки какого-то, то ли столичного, то ли невольного сочинённого самим Вадимом, романса — в унылой и будничной суете постоянных необходимых выступлений и литературных встреч он просто не находил сил, чтобы в этом разобраться.

Позже, совершенно случайно, Вадим узнал, что в Барнауле есть и Мало-Тобольская улица, и Крестьянский проезд, и списал навязчивую мелодию романса на собственный счёт.

*Ты на Малотобольской, а может, в проезде Крестьянском,  
С пролетарием вьёшься, ругая суму и тюрьму.  
Эта ночь повторяется, дикая и полупьяная,  
И уносит тебя, без креста, в необширном гробу...*

Куплет, как недобитый Вертинский, всё крутится в мозгу, навязал на зубах, и отвязаться от него никак не выходило.

\*\*\*

— Вам-та, гражданин-товариш Ширшиневи́ч, уже прямо на заводском механизме впахивать-то оно точно нет нужды. Вы ж, этое самое, всё сочиняете, сочиняете, а опосля ишо разговариваете разное, — бурчала Люба, сидя у окна и налаживая в иглу нитку для штопки лежащей на коленях занавески. — А мы што, мы тожо вить так оно, по лютски-то если взять, мы не люди, што ли? Нам вона как здесь пришлось. И Колчака, и других остальных баринов-то, а всё ручками, да ножками работа идёт наша всегдашняя. А языками-то, оно здесь все эти они, узерпаторы-то, приходили чесать. Вы уж не сердчайте, а никак мне неизвестно про всякаю пользу сочинительства всякаво, а если кто не работает сам-то, то известое дело, паразит и пьяница.

— Любовь Петровна, вы что же думаете, что писатель книжки от нечего делать сочиняет?

— А так ему чаго делать-то, оно вона Васька-конюх-та или Митрич наш, на заготовке который матером, им-та уже точно книжки ни к чему выдумывать, они трудятся, пролетарской труд осушывляют. А эт всё так, баловство одно, — Люба безнадежно махнула рукой и посмотрела в сторону Вадима таким взглядом, которым смотрят на больных и убогих — с жалостью и печалью, как по-христиански жалеют попрошаек у ворот храма, и разглядила рукой поправленную занавеску.

— Эх, Люба, я же вам уже говорил, что книжки не от безделья пишутся. Вы думаете, я стишки сочиняю? Нет, я тоже делаю танки для страны! Ведь говорится же, что песня и работать, и жить помогает, а песню же надо сочинить ещё правильно уметь, да и исполнить тоже умение требуется, верно? Вот и Мария Михайловна пением профессионально занимается, а мне пришлось на судьбу быть по профессии поэтом. Так что мы очень даже танки для страны производим, работать и жить стране помогаем, разве можно этого не понимать!

— Ай, да ладно вам, вот оно и обиделись прямо, ну танки так танки, чегой-то так обижаться-та.

От этих слов ещё больше стало понятно, что Любина позиция относительно различного рода писательских результатов труда только укрепилась в своём недоверии.

У печи, на ящике, что Люба звала «тамбучкой», лежала свёрнутая пополам газета. Вадим взял её без особой цели.

Прочитав по правому краю газетного листа первую строку объявления, Шершеневич понял, что стало импульсом для подсознательно протянутой к газетному тексту руки. Между заметкой о «Хозяйничании немцев в Италии» и кратким сообщением некоего Губаря об экспедиции юных натуралистов стоял заголовок «Вечер памяти М.Ю. Лермонтова».

Номер газеты был ещё июльский, но Вадим с интересом погрузился в чтение. Из анонса он узнал, что в Барнауле есть Дворец пионеров и школьников, правда, разделение подростков на тех и других не совсем, да если уж честно, то и совсем оставалось малопонятной градацией. Может, пионер не мог быть школьником или школьник стоял ниже в иерархии, бог его знает.

В любом случае, газета сообщала, что у этой двусоставной группы детей есть Дворец, а в самой группе есть некий «актив». Вот это самый «актив Дворца» и готовил торжественный вечер к 100-летию юбилею со дня гибели поэта Лермонтова. Юбилей назывался в анонсе «знаменательной датой», что, видимо, означало особое значение события скандальной дуэли между нахамившим поэтом и его «потерпевшим» товарищем по дуэльному несчастью.

Программа вечера предполагала зачитывание доклада о жизни и творчестве выдающегося стихотворца, что само по себе уже выглядело торжественно и солидно. Разумеется, рассказывая о «жизни» поэта, никому не придёт в голову упоминать пиитовы капризы, истерики и растрату дотаций от любящей бабули. Наверняка скажут нечто великое и каноничное, чтобы подчеркнуть в очередной раз «революционность» авторских призывов.

Помимо докладов, анонсировалось «выступление членов кружков художественного слова и хорового». Построение фразы здесь совершенно случайно тянуло на какой-то

изыск, но Вадим только усмехнулся нескладности слога автора анонса.

Закономерно в программе выступлений значился знаменитый, но совершенно невозможный, с точки зрения поэзии, лермонтовский рифмованный опус «На смерть поэта». Михаил Юрьевич знал толк в конъюнктуре. Также в программе традиционно белел одинокий парус и выходил некто один на дорогу, а уж «Бородино», как говорится, сам бог велел поставить к исполнению.

Финал объявления оказался с неожиданными деталями. Безымянный автор сообщал, что «в фойе театра Дворца в этот день можно будет видеть специальный номер стеной газеты «Юный большевик» и большую фотовитрину памяти М.Ю. Лермонтова». Мало того, что во Дворце отдельно содержался театр, так ещё и фотографии для памяти Лермонтова имелись.

Внутренний гаер ехидно сморщился, и Вадим положил газету обратно на «тамбучку».

## Глава 9

### Наши дни

— Простите, — опять угрюмый молчаливый мужик и грязная тётка, — а где я могу посмотреть записи с номерами могил и картой кладбища за сорок второй год?

— У нас ничего нету, — тётка говорила глухо и быстро. — Мы тут только сторожим. Она отвернулась, давая понять, что разговор закончен. Худого потрёпанного нигде видно не было.

Честно говоря, никакого смысла в моём вопросе о номерах и картах не имелось, так как я прекрасно знал, что такая информация если где и хранится, то разве что в архивных фондах. Просто в моменты, когда не особо понятен ответ на вопрос «что дальше?» человек от некоторого замешательства задаёт совершенно футуристические, не уместные для данного времени и ситуации вопросы. Наверное, есть какой-то интеллектуальный инстинкт, «сдвиг по фазе», когда просто необходимо проговорить что-то предстоящее вслух.

Здесь ловить было нечего, об архивах сейчас говорить было неуместно. Пришлось начинать всё сначала, то есть с момента смерти Шершеневича.

\*\*\*

В архиве Государственного музея истории литературы, искусства, культуры Алтая была только старая чёрно-белая фотография надгробного камня, датируемая примерно 1981 годом.

В госархиве тоже не было никаких документов по захоронениям литераторов. Многие сведения получить оказалось довольно проблематично по причине множественных технических трудностей или просто отсутствия документов на данную тему.

\*\*\*

Сегодня опять отмечали очередную торжественную торжественность. Был кто-то из администрации, сказал какие-то необходимые слова.

Писательское сообщество в очередной раз приободрилось, в зале забормотали о том, о сём.

После состоялся слабенький, сладенький, маленький фуршет.

На круглых пластиковых (так и хочется сказать, одноразовых) столиках островки канале из сырка на хлебце с украшением в виде приколотой зубочисткой оливки. Всё остальное, окружающее эти одноразовые столики, пребывало в том же формостиле — тела, покрытые сырками членских корочек и приколотые для украшения наградными знаками. Одноразовый праздник жизни.

Ходили между друг другом, говорили о премиях, литпроцессе. Традиционно кого-то ругали. Пара литературных архистратигов чего-то яростно доказывала в разных углах фуршетного зальчика. Кучка остроглазых и вечно иронизирующих сочинителей пребывала демонстративно отдельным островком, но всё же на фуршетах они всегда присутствовали.

Дёшево, сердито, вялотекуще осваивались какие-нибудь средства.

Где-то в самом начале мелькнул общелицей представитель издательства, что, впрочем, ровным счётом ничего не значило.

— Вася, я тебя умоляю, это же всё уроды, ты реально думаешь, они здесь для какой-то там литературы и прочей болтологии собрались? Вся перхотная чепуха, что вечно трётся на подобных сборищах, это же фоновый шум, помехи на экране. Мы с тобой здесь те же помехи, а иначе чего бы мы тут тёрлись.

— Ты тише, услышит кто, сам знаешь, вся эта, как ты говоришь, чепуха перхотная,

она же вонять будет до скончания века потом, никакое канаше не поешь у них после такого, сам знаешь.

— Да пошли они все. Я ненавижу каждую здесь скотину, и себя ненавижу, потому что с ними такая же скотина стал. Сука, сука, — писатель ударил два раза кулаком по стене, так как уже принял немного крепкого для смелости. — Ненавижу, сука, всё это тупорылое дипломированное быдло! Ты знаешь, правда в том, что всё это вот надо разрушить. Как там большевики предлагали, чтобы до фундамента, до основания. Они же тогда, после 17-го года, ошиблись только в одном, что «а затем» ничего строить не надо, пускай всё горит хоть белым, хоть синим, хоть бело-синим пламенем, и вот в этом пламени, может, чего и останется крепкого, несгораемого.

— Тише, брат, успокойся, ты стариков напугаешь.

— Стариков? Стариков?! Да эту совдеповскую коросту разве чем возьмёшь? Да их же никаким капитализмом самым диким не содрать, я же сам уже этой коростой оброс со всех сторон, сам уже об одном бабле думаю. Эти скоты из меня такую же тварь сделают, не сейчас, так потом, не они, так их клоны. Ты думаешь, они кружки свои для чего ведут? Это же инстинкт своры, рефлекс выработывают у щенят, растят выводок шакалов. Ум, честь и совесть, разговоры о высоком каком-то, то традиционном, то свободном, то ещё каком «важном» и «вечном». Ценности эти вот все, про которые они тут трьндят. Да не смей ты мои белые тапки, всё этикетками позавесили и дизайн обложек поменяли. Новое да традиционное, свежее да свободное, а всё одна бодяга? Слышал присказку «два друга — хрен да поддруга», вот прямо в точку.

— Ну хватит, хватит, ты что истерику-то устраиваешь, пойдём вон выпьем за тебя хотя бы.

— Ага, за упокой русской литературы в русских литературных кружках, — писатель расстегнул пиджак. — Душно здесь как-то. Да пофиг, пойдём, выпьем.

Сытые и унылые выражения, чиновники и приближённые к журнальным толстякам (так и хотелось сказать, к «Трём толстякам») — фуршет закрутился и перемешался в голове сплошным блевотным месивом.

— Василий, вы, пожалуйста, доставьте уставшего писателя домой, чтобы как-то под контролем всё было. Я могу на вас рассчитывать? — сухая до отвращения заведующая отделом критики смотрела на Василия сквозь строгие толстостенные очки, шевеля ярко накрашенным ртом.

— Да-да, конечно... — Василий подхватил писателя под руку и начал набирать номер такси.

— А ты знаешь, — бормотал во время погрузки в такси писатель, — что не... некогда мелкий... ма-асепусенький такой... литературная прислуга, мать твою... а нынче, о! Нынче он называется главным редактором, а? Каково? Был мелкий, стал какой...

— Ты-то откуда знаешь? Этому редактору уж лет семьдесят наверняка, а то и больше.

— Больше-меньше, система, брат мой, всегда одна и та же — маразм и ретроградство. Вначале маленький, угодливый, ждёт сидит, а потом глядь, уже начальник большой. А сегодня так вообще, — писатель словно ненадолго протрезвел, — сегодня вода мутная, в ней такую рыбку наловили, что мама не горюй, ещё полстолетия расхлёбывать придётся.

— Да ничего не придётся, всё как было, так и будет.

— А, знаешь, пожалуй, ты прав... Вон те... — он махнул куда-то в сторону, — эти вот, которые всё пришептывали, с придыханием про Александра Исаича, они же даже помыслить не могли, что напечатают и Исаича, и Лолиту набоковскую. И ни хрена не случится. Никакой катастрофы не произойдёт. Переоценили писательство-то. Через Льва Толстого переоценили и надули, как лягушку соломинкой, а лягушка возьми и лопни, кишками даже не особо забрызгала. Всё глазки закатывали «великий старец», да всякая чепуха про лиры и прочие лужёные трубы. Всё для себя, себя одного закатывали каждый. Они же до сих пор рассуждают каждый про себя «литература — это я», людовики грёбаные. Они, бесы эти перхотные, всегда будут делать только то, что удобно их личной карьере, чтобы им лично удобно было... Все мы, чтобы всем нам удобно было... — писатель как-то безнадежно икнул, как бы показывая неопределённость и всеобщность окружающих врагов, и замолк в тревожной дремоте.

Василий ехал рядом и рассуждал про себя: «И то правда, ведь, наговорив многого, русский писатель так ничего и не сказал, ни в России, ни в Европе, ни, прости господи, в Америке».

## Глава 10

### 1941 год, начало ноября

Худой, болезненного вида человек, некогда прозванный московским Цицероном и гремевший на всю столицу, тяжело поднимался в гору, перешагивая навозные кучи и чавкая сапогами по грязи, смешанной с мокрым снегом. Это был широко известный, но, как он теперь понял — в узких кругах, поэт Вадим Шершеневич.

Чем больше унылых дней проводил он здесь, в эвакуации, тем сильнее угнетала мысль, что этот небольшой сибирский городок охладит любой поэтический пыл сильнее, чем весь вместе взятый репрессивный аппарат Советской республики.

Тусклые силуэты высоких гор на горизонте и мрачные люди — слово «поэт» означало здесь что-то вроде помеси артиста, агитатора и юродивого и в целом совершенно бесполезного в хозяйстве человека. Сочетание же поэт-модернист вызывало у мрачных сибиряков веселье, а то и могло пойти в народ в качестве оскорбления.

«Модернист, модернист!» — дразнили друг друга возившиеся на улице дети и били по ушам. «Модернист, мать твою!» — угрюмо ругал незадачливого ученика мастер на оборонном заводе.

Ленина и Сталина здесь знали все, но совершенно бессмысленно было объяснять, кто такие Брюсов или Андрей Белый.

Впервые идя выступать в один из военных госпиталей, Вадим полагал, что народ будет поражён, увидев воочию такого известного поэта, как Шершеневич. Всё оказалось совсем не так, и он, теоретик имажинизма, известный оппонент Маяковского, московский Цицерон, весь вечер рассказывал только о том, как лично был знаком с Есениным и Маяковским — только это интересовало и поражало слушателей.

Другими словами, поэт Вадим Шершеневич, со всеми своими теоретическими изысканиями, стихотворениями и переводами, был совершенно никому неинтересен и неизвестен, а главное — совершенно бесполезен в хозяйстве.

Что касается его переводов Шекспира, Корнеля, Сарду и всех вместе взятых французских поэтов-символистов, то из-за них случались одни лишь нелепые анекдоты. Например, неделю назад, во время очередного литературного концерта в местном народном кружке сочинителей, после прочтения Вадимом своих переводов Шекспира, одна милая старушка, сидевшая в первом ряду, наивно спросила: «А вы что ж, и этого Шейкспира тоже знали?»

Вадим объяснил, что Шекспир умер ещё в начале семнадцатого века, но по лицу бабули было ясно, что она совсем не поняла, зачем переводить того, с кем не был даже знаком.

Проходя часто по барнаульской улице, названной в память «механикуса» Ползунова, невозможно было отделаться от ощущения какой-то нелепости бытия. Шершеневич на одном из литературных вечеров разговорился с местным знатоком истории и узнал об истории Ползунова факты потрясающе беспробудные.

Будучи работником с невысоким чином на горном производстве, Иван Ползунов — этот почти крепостной мастер — самостоятельно спроектировал и смонтировал первый паровой двигатель и создал в Барнауле машину для механизированного производства. Его первая в России паровая машина была также первым в мире двухцилиндровым паровым двигателем, впервые в истории не требующим вспомогательного гидравлического привода (способным работать без проточной воды и водяного колеса). Умер мастер в 1766-м от чахотки, в маленькой квартирке на улице, которая числится сейчас Пушкинской (здесь вообще любили называть улицы именами известных сочинителей великороссийских художественных историй), так и не дожив несколько дней до запуска своей машины.

Но беспробудным было продолжение истории с машиной. Казалось бы, Кабинету Её Императорского Величества взять и ухватиться за эту модернизацию, так нет, всё спустили на тормозах. Механизм проработал три месяца до первой поломки, а после надолго встал и, в конце концов, был разобран и переплавлен на медные слитки для отправки в Москву. Всё разъяснялось довольно прозаично — рабочие руки и ноги приписных крестьян обходились намного дешевле и не требовали никаких интеллектуальных затрат, вот и оставили проект с ползуновским паровым двигателем на бюрократической полке с делами. А ведь сама матушка-императрица выделила денег на поощрение Ивана Ползунова, но это ничего не изменило. Вспомнился ещё один параллельный исторический казус о том, что в Древнем Риме уже знали паровой двигатель, но на рабах было проще и дешевле, потому пароводвигательным был только «бог из машины» в развлекательных театральных постановках.

Здесь же, на той же улице Ползунова, жил недопомилуванный полукаторжник Фёдор Достоевский, и здесь же его сбил с ног серьёзный эпилептический припадок. Может, Достоевский действительно понял тяжесть своего каторжанского груза в стенах барнаульского дома Семёнова-Тян-Шанского. Может, и так, но по преданию местных сочинителей именно на этих улицах создавались Достоевским несомненные шедевры с описаниями сурового провинциального быта и нравов, как-то: «Село Степанчиково и его обитатели» или безумный «Дядюшкин сон». Сейчас-то совсем очевидно, что все эти «неволью написал вещичку голубиною незлобия и замечательной невинности» на самом деле Фёдором Михайловичем сказаны были явно с сильным преувеличением относительно «невинности» и уж тем более «голубиною незлобия».

Вот и меня здесь ожидает неизвестно что. Кривляйся не кривляйся, а никаким имажинизмом здесь и не пахнет, один сплошной цирк-шапито с промозглым фоном.

«Гаер, — всё чаще вспоминал Вадим свой старый псевдоним, — шут гороховый...»

## Глава 11

### 1941 год, вторая половина ноября, Собор архистратига Михаила

— Товарищи, устные выступления советских писателей перед массовой аудиторией вошли за последнее время в широкую практику и создали новые формы творческой связи между писателем и читателем. И вот демонстрируя такую практику, группа московских писателей выступает сегодня с циклом литературных вечеров в Барнауле и городах Алтайского края.

В суровые дни Великой Отечественной войны советская эстрада оказалась одним из мобильных, оперативных средств идейно-художественного воспитания самых широких масс трудящихся тыла и бойцов Красной Армии.

Применяясь к любым условиям, под открытым небом, в цехе завода, в блиндажах передовых линий и на полевом стане колхоза, артисты эстрады несут массам советскую боевую песню, художественное правдивое слово, народную пляску, образцы великих произведений русских и европейских классиков.

Перед Алтайским краевым концертно-эстрадным бюро в 1941 году поставлены сложные и ответственные задачи. Следуя единому непоколебимому призыву советского руководства, мы равняемся на примеры самоотверженности и выдержки наших братьев и сестёр, которыми 7 ноября 1941 года, во время Московской битвы, когда линия фронта проходила всего в нескольких десятках километров от города, был проведён военный парад в честь XXIV годовщины Октябрьской революции. Будем же достойны общего дела, товарищи!

Сегодня перед нами выступит с чтением антифашистских одноактных пьес товарищ Зорич, прочтут лирические стихи товарищи Москвичева и Оттен, а товарищ Шершеневич, помимо стихотворений, прочтёт отрывки из своих стихотворных переводов зарубежных классиков.

Из зала кто-то дал реплику:

— Зачем нам зарубежные классики, что, своих не хватает, что ли?

— Товарищи, когда вражеская пропаганда безуспешно пытается отменить наше советское искусство, мы, как представители мировой социалистической культуры, считаем важным сохранять достояние искусства мирового и общечеловеческие ценности свободы и демократических прав граждан. Мировые классики английской, немецкой и любой другой литературы не принадлежат продажным и буржуазным правительствам, но принадлежат всем жителям планеты. Потому сегодня важно показать, что именно мы являемся первым прогрессивным социалистическим обществом, которому по праву принадлежит мировая культура.

— Согласен, аргумент, — в зале одобрительно загудели.

Товарищи, темы зачитываемых сегодня произведений будут посвящены Великой Отечественной войне и героике прошлого.

\*\*\*

Выступление прошло в обычном ритме.

Белла Зорич вспомнила какие-то свои сатирические комедии, где ругала то ли НЭПовские извращения, то ли мещанские замашки горожан или вообще ругала кого-то внешнего и враждебного к присутствующему в зале обществу.

Отличился Николай Давидович, чья способность оказаться кстати при любых властях проявилась самым невероятным образом. Он заявил, что нет никаких сомнений в безграмотности и бездарности гитлеровской пропаганды, потому что у немцев есть Гёте и ещё кто-то, а следовательно, история их осудит неизбежно. Выступающий даже очертил круг потенциального чтения, назвав, помимо точных имён классиков немецкой литературы, ещё и неких «тех-других», кто «с нами».

Никто так и не понял, к чему конкретно призывал оратор и что именно необходимо делать сейчас, читать ли Гёте или «тех-других», которых упоминал в своей пламенной речи Оттен-Поташинский, или прямо сейчас присоединиться в едином порыве к осуждающей гитлеровскую пропаганду истории. В какой форме должно происходить единопорывное присоединение, также не обозначалось никакими конкретными инструкциями. В целом, сама речь зрителям понравилась своей умностью и непонятым пафосом. Казалось, что делать необходимо всё и сразу, на том трудящиеся массы и успокоились.

Кто такая Москвичева, Шершеневич не слишком интересовался до этого дня, да и после так ни разу и не вспомнил об этой пересказчице современных былин. Запомнилось только, что все её пересказы изобиловали призывами к светлому будущему, а былины она упорно звала «новинами», следуя какой-то кратковременной тенденции в культурной политике партии.

Таких экспериментальных начинаний в области культуры за последние пару десятков лет произошло столько, что весь имажинизм с футуризмом могли бы только позавидовать изобилию совершенно немислимых идей советского руководства.

## Глава 12

### 1941 год, декабрь, Рождественский пост

Алтайские морозы сквозили из всех щелей. Степные ветры продували до костей.

Запахиваться в полушубок приходилось долго, так как на нём пришивались дополнительные пуговицы, вставляемые в прорези между стандартными заводским способом прошитыми петлями. Особенность степных сибирских и вообще любых северных хиусов в том, что они дуют тонко и пробираются глубоко под одежду в совершенно незначительные щелочки.

Продуктов стало заметно меньше в каждом пайке. Совсем не стало чая и уж тем более давно пропал сахар.

Мари всё вспоминала о шоколадных плитках в московском буфете. Люба слушала такие разговоры как нечто сказочное, даже уточняла как-то по-простому у Вадима:

— А ежели тот буфейт при театре, так эта ж и кто тогда тама есть-то? Это ж вроде бо какая ярмарка нашай, ну, с калачами разными прейставление?

— Ну, наверное, можно и так сказать, я как-то в этом ключе не думал, — Вадим развеселился Любиными аналогиями. — А у вас здесь ярмарки часто бывают?

— Ой, ну тагдай-то, до войны вот, тамо каждой осенью внизуй-то, на церковной площади-то, многая былось, хде на базарной вот, в театры ходити хде сейчас-то.

— Так там церковь какая была раньше, на площади?

— Агха, была, да сплыла, тама их ажно три штуки стояло-то. У нас сдеса, тама вон, на Троицком, тама тож стояла, щас кинотограф в ней кажут.

Дрова пока были, Вадиму выдавались дополнительные кубометры от интендантской службы. Люба кубометрами была довольна и за них терпела все скучные однотипные нравоучения Марии Михайловны. Люба вообще оказалась глубоко философичной домохозяйкой. Глядела она на квартирантов как на неизбежное мелкое зло этого мира и радовалась, если от такой обузы приносилась хоть какая-то польза в хозяйство.

## Глава 13

### 1942 год, январь, Крещенский сочельник

Вообще, состояние какой-то неопределённой тоски не покидало Вадима уже много лет, а точнее, с того самого дня, когда его Юля, Юленька, Жюли, так бессмысленно и нелепо покончила с собой, в двадцать шестом нажав своим тонким пальчиком на курок револьвера.

Ни смерть Валерия Брюсова в 24-м, ни самоубийство Есенина в 25-м не стали для него той точкой, с которой заканчивается жизнь — поэты не умирают, этой мыслью всегда можно было утешиться и оправдать потерю. Даже Володя Маяковский не особо впечатлил своим театральным выстрелом в сердце.

Ведь то поэты, у них всегда есть шанс стать историей, мифом, потому что смерть поэта касается всех.

А что делать со смертью любимого человека, что делать с личной трагедией, когда у других людей полно таких же личных трагедий, собственных концов света, — ответа на этот вопрос не было.

«Ветер, — думал он, — здесь, должно быть, тепло, когда нет ветра, но ветер здесь есть всегда».

В этом городке можно было пойти в любую сторону — ветер всегда дул в лицо. Какое-то упадничество охватывает жизнь всё сильнее. Наверное, прав в чём-то Мейерхольд, хоть и большими словами, но в чём-то прав.

Всё-таки обидно скребли память те слова: «...товарищ Шершеневич — продукт «стойла Пегаса». Эти Шершеневичи... представители упадничества, они представители гнилого болота нашей литературы, они те остатки контрреволюции, которые не успели покинуть нашу революционную землю».

Да, Всеволод Эмильевич, верно вы подметили, все мы продукты своих стойл.

## Глава 14

### Наши дни

Нашёл автора повести «В пылающем небоскрёбе» — повесть о последнем годе жизни Шершеневича. Им оказался бывший учитель физики, литератор-любитель Анатолий Иванович Казаковцев. Он вспомнил, что, собирая материалы для своей книги, был в отделе ЗАГСа на ул. Профинтерна и видел запись о регистрации смерти Вадима Шершеневича.

Открыл его сочинение, как сказал сам автор, «маленькую повесть»:

«В Барнауле на старом кладбище недалеко от братской могилы умерших от ран солдат Великой Отечественной войны под сосной стоит памятник, вытесанный из лабрадора — черного камня с синими блестящими. На нем факсимильная надпись: «Поэт Вадим Шершеневич 1893-1942 гг.».

Да, это всё уже было понятно, памятник я видел. Кроме братских могил, вокруг могильного чёрного камня разрушались от времени и другие захоронения — могилы 20-х и даже 10-х годов прошлого века.

Чуть глубже пройдя по кладбищу, метров за двадцать после чёрного лабрадора Шершеневича стоял гранитный памятник с чугунной надгробной плитой. В ноябре 42-го здесь похоронили двух профессоров — бригадир Рюмшина и Андерса. Их чугунная плита сообщала об оставшихся здесь живых и любящих жёнах и детях. Гранит хранил грубо высеченные образы серпа и молота, в центре которых краснела красноармейская звезда. Видно, что за этим общим двойным захоронением до сих пор проводился тщательный уход.

Алтайский край пестрел немецкими фамилиями ещё со времён освоения этих земель горными офицерами и мастеровыми демидовского производства. Вот и бригадир, покойный профессор Андерс лежал в одной могиле с бригадиром, профессором Рюмшиным, деля на двоих одну историю жизни и смерти. Тем более, что даты их захоронения различались только в десять дней.

## Глава 15

### 1942 год, февраль, дни воспоминания Адамова изгнания, Сретение, Прощёное воскресенье

Аппаратурно-механический завод только устраивался. Практически на пустыре под открытым небом устанавливались станки эвакуированного в Сибирь московского завода «Арматура». Люди здесь трудились суровые, трудные, молчаливые.

Клуб представлял из себя красный уголок в здании какой-то конторы, проветриваемом всеми ветрами, но набитом сейчас под завязку трудящимися. По причине холода и февральского сырого сквозняка запахов почти не было заметно, а по причине собранного в одном месте математического множества из человеческих тел помещение немного обогревалось.

— Товарищи, сегодня мы противостояем не просто нацизму, мы отстаиваем нашу великую идею рабоче-крестьянского мира! Мира правды, где нет места проклятым империалистическим агрессорам! Кто не с нами сегодня, тот против нас, а иначе быть не может!

Друзья, сегодня перед нами выступают наши товарищи писатели, которые приехали из Москвы, чтобы поддержать пролетарский рабочий класс крепким советским писательским словом. Писатели Оттен и Шершеневич закончили сатирическую пьесу, и она будет представлена в кратких выдержках. Название пьесы говорит само за себя — она называется «Приговор выносите вы!». Вместе с рабочим народом писатели слились в едином справедливом гневе и обличают немецко-фашистскую военщину, показывая скорый крах её завоевательных планов!

Мы знаем о зверских издевательствах немцев над пленными красноармейцами. С Калининского фронта сообщают о том, как пленных бойцов Красной Армии гитлеровцы

избивают палками, а потом расстреливают наших братьев и сестёр! Известен произвол фашистов в Венгрии, издевательства над пленными красноармейцами в Польше. Уже началась грызня между гитлеровским режимом и его прихвостнями в Италии и Испании. Эта жестокая, зарвавшаяся клика рвёт на части всё, к чему касается её поганая лапа. И мы будем искоренять это бесчеловечное отродье, эту нацистскую гадину!

С фронта сообщают об очередных успехах нашей Красной Армии. На подступах к Севастополю артиллерия, взаимодействуя с авиацией, только за четыре дня февраля подавила 9 артиллерийских батарей, разрушила 2 ДЗОТа, 5 укрепленных точек, 4 миномётные батареи противника. Также информация об успехах наших лётчиков на Западном фронте облетает все советские газеты! Жертвуя собой, они нещадно бьют фашистских негодяев, а когда заканчиваются патроны, то, находясь в ситуации вражеского окружения, предпочитают плену героическую смерть! На Юго-Западном фронте замечательные примеры героизма, мужества и боевой инициативы показывают наши разведчики. Так, например, известен подвиг группы Зиновьева, напавшей на пост противника и уничтожившей 16 фашистов, 32 автомашины, 1 зенитную установку и захватившей 2 ящика с топографическими картами.

Примеры мужества наших красноармейских бойцов неисчислимы, и мы сегодня хотим отметить подвиги советских солдат не только нашим делом, но и поддержать твёрдым словом. Перед выступлениями уважаемых товарищей из Москвы будут прочитаны стихи наших местных рабоче-крестьянских поэтов, написанные для советских газет и агитационных митингов.

Работать за себя и за товарища, ушедшего на фронт, — с таким коммунистическим призывом мы сегодня идём вперёд, к победе над поганой нацистской гадinou! И первым для выступления приглашается стахановец, многостаночник Барнаульского вагонного депо Михайло Никитин, который прочтёт запавшее ему в душу стихотворение. Поприветствуем товарища Никитина.

Неловко припадая на одну ногу, на импровизированную в распахнутом грузовом кузове трибуну поднялся тёмный мужик в рабочем ватнике. Он читал глухо, но твёрдо, басовито произнося каждое слово:

*Мы смело в бой с фашистами идём,  
Страну свободную, враги, не троньте!  
Стоим стеною мы на фронте трудовом,  
Как наша армия стоит на фронте!  
Не смять врагу сомкнувшихся рядов,  
Напрасно подлецы нам смертью угрожают —  
Добьем, добьем зарвавшихся врагов  
Углем, металлом, лесом, урожаем!*

Было слышно, что проговаривание окончаний слов в «сомкнувшихся» и «зарвавшихся» многостаночнику Михайло Никитину даётся непросто. Но с упорным выражением на задубевшем лице он проговорил весь зарифмованный текст без ошибки, после чего спокойно и молча вернулся в массу слушателей.

— Товарищи, призыв к борьбе с немецко-фашистскими захватчиками звучит и в стихах наших женщин. Приглашаю сказать соответствующее стихотворное слово работницу вагоноремонтного завода Клавдию Петровну Мозгову, которая посвятила время своего заслуженного отдыха после работы на производстве помощи раненым бойцам эвакогоспиталя №3500.

Из дальних рядов пробралась к трибуне маленькая крепкая баба. Подниматься в раскрытый кузов она не стала и, остановившись прямо перед ним, развернулась к массе трудящихся. Голос у Клавдии сквозил какой-то бабьей взвизгивающей интонацией, и слушать её чтение было немного неприятно:

*Письма с фронта в тыл идут,  
Пишут наши близкие,  
Что алтайцы крепко бьют  
Гадину фашистскую.  
Восемь «Юнкеров» угробил  
Храбрый наш один земляк.  
Руль девятому он срезал —  
Не ушел живым стервяк!  
Скоро, скоро я поеду  
Красною сестрою,  
Отвезу на фронт гостинцы  
Земляку — герою.*

— Товарищи, поддержим дружными аплодисментами выступающих, а перед выходом на сцену московских писателей хочу прочесть вам свежее стихотворение на злобу дня от нашего журналиста газеты «Алтайская правда» товарища Винограда:

*Когда зарвавшийся бандит  
От правосудья удирает,  
То он обычно не твердит,  
Что он «по плану» отступает.*

*Бандит фашистский не таков:  
Пустив газетного туману,  
Он уверяет дураков,  
Что отступает он «по плану».*

*А мы за клином режем клин  
Стальными, мощными клещами,  
И сколько б ни трубил Берлин, —  
Все знают: план составлен нами.*

\*\*\*

Снег, лёд и холод, стужа февральская... Была во всём этом какая-то невыносимая простота, какой-то невыносимый, простой, фундаментальный свет.

Занесённая, покрытая ледяной коркой ракушка эстрады в провинциальном городском парке. Дощатые, скрипучие от мороза деревянные тротуары. Двухэтажные дома городского старого центра, каменные на первом и бревенчатые на втором этажах, с резными вычурными наличниками.

Крепкие, надёжные, старорежимные жилые постройки и свежесбитые складские хозяйственные сараи. Всё стояло на земле прямо, просто и незыблемо, всё было неотъемлемым от этой земли.

Искусство заключалось здесь в простоте и даже грубости фактуры. Безыскусное искусство — то единственное, к чему порой и стремилось человеческое сердце в далёкой холодной Сибири.

## Глава 16

**Барнаул, 1942 год, конец марта, неделя 6-я Великого поста вайй**

Конец марта 42-го выдался в Барнауле сырым и мутным. Война шла где-то далеко, даже казалось, что война для Барнаула стала чем-то вроде горькой причины общего культурного подъёма. Ждали, ни много ни мало, приезда труппы Московского камерного театра.

Вадим чувствовал себя плохо. С каждым днём кашель становился всё более назойливым и неуместным. Он задыхался и давился каждым вдохом до рези в горле.

Иногда выдавались необычайно лёгкие состояния, а в теле словно поднималась волна какого-то воздушного вдохновения — это значило последующую неделю тяжелейшего упадка сил, но поэт Шершеневич ценил такие часы подъёма, стараясь работать как-то особенно тщательно.

Постоянно идут различные читки и выступления, но Вадим уже не так преисполнен энергией, уже дышит с переборами.

Что за напасть, ведь надо же было именно сейчас подхватить какую-то то ли простуду, то ли скарлатину.

Мне бы завтра на ногах точно надо стоять крепко, пригласили на очередную встречу, а тема-то, как мне кажется, вполне сегодня горячая — партизанское движение на Украине и в Белоруссии.

## Глава 17

**Наши дни**

В ЗАГСе на Профинтерна служащая рассказала, что нужные мне записи хранятся в отделе ЗАГСа Центрального района.

Дойти можно было пешком. На месте заплатил 100 рублей госпошлины и получил справку, из которой не узнал номера могилы, но узнал адрес, по которому поэт Вадим Шершеневич жил в Барнауле.

## Глава 18

### Наши дни

Роясь в письмах и документах местного краеведа, попросившего оставить его имя в качестве неразглашённого факта, обнаружил два отдельных бумажных листка. Первый испisan от руки ровным почерком. Письмо без подписи, но с именным обращением, синие чернила кое-где расплылись, но текст читался легко. Очевидно, что у письма не хватало начальных страниц, да и та, что имелась, обрывалась на полуслове.

#### Отрывок из обнаруженного письма:

«...Да, да, дорогой Иван Димитриевич, так потом и скажут что-то вроде, что «для Барнаула конец лета и осень 41-го становятся поворотными моментами городской истории». Скажут ли о прибывших писателях и артистах — наверняка скажут. Вот как, например, меня назовут, по имени или имени-отчеству, опять перевернут отчество или совсем не вспомнят?

Что за чепуха лезет в голову! Понятно, что передовицы сегодняшнего дня мало подходят для прогнозов. Говорят, что из европейской части СССР прибывают и прибывают поезда с эвакуированными гражданами, предприятиями, культурно-интеллектуальными человеческими ресурсами...»

Второй листок отпечатан с двух сторон на машинке и содержит размышления с упоминанием краеведческих фактов. Про себя назвал это «заметками краеведа-философа».

#### Заметки неизвестного краеведа о Барнауле:

«...более ста размещившихся в городе предприятий необходимо было не только обслуживать. Точнее, для обслуживания такого количества производственных мощностей людей не хватало в принципе, потому работа велась смена за сменой без выходных и отпусков, без привычных для размеренной жизни провинциального города «повседневностей».

А повседневность здесь была, мягко говоря, разнообразной. По крайней мере, те пролетарии, которых довелось наблюдать, мало походили на высокодуховных потомков покорителей Сибири.

Местные пивные короли, за последние полстолетия превратившие Алтайский край в точки алкогольного дохода, сделали неизбежным появление параллельных точек сбыта. Какой-нибудь купец Ворсин сколачивал состояние на производстве алкосодержащих напитков, после чего благополучно устраивал на свои деньги богадельни и приюты для сирот.

Никого особо не волновало, что большинство униженных, обездоленных и оскорблённых являлись следствием разрушенных пьянством семей.

Но веселительные напитки приносили немислимый доход, потому производство пива, спирта и богаделен продолжалось.

Вместе с социальной деградацией шла дополнением деградация культурная, и после октябрьского переворота на этих землях творилось не пойми что. За время Гражданской войны положение стало не особо лучшим, потому предприятия, эвакуированные в Барнаул в начале Великой Отечественной, наполнялись человеческими коллективами, коих необходимо было твёрдо поддерживать в едином идеологическом порыве к труду на благо общества.

В этот глубокий тыл, а кто-то называл Барнаул и более ёмким сравнением с непотребными отверстиями человеческого тела, вывезли не только производственные мощности страны, но и целые коллективы художественно образованных граждан.

Некоторые отзывы данных граждан нельзя назвать иначе как восторженными. Та же актриса Алиса Коонен, а по совместительству и супруга широко известного театрального реформатора Александра Таирова, написала о прибытии в Барнаул ряд легкомысленно-интеллигентских пастельных пассажей вроде:

«В начале лета, простившись с Балхашем, мы уехали в Барнаул. Сейчас это один из крупных промышленных центров страны, но тогда он во многом сохранял еще черты старого русского города. На отдаленных улицах под ногами скрипели дощатые тротуары, в городском саду красовалась традиционная деревянная «раковина» для оркестра, по тихим улочкам летними вечерами прогуливались в обнимку девушки с длинными косами, поверяя друг другу свои девичьи секреты. Достопримечательностью города был большой парк. Крутой живописный обрыв спускался к самому берегу Оби. При входе в парк посетителей встречал медвежонок, привязанный цепью к большому столбу. Сразу же по приезде, оставив вещи в гостинице, мы побежали в театр. После

балхашского клуба прекрасная сцена, просторный зрительный зал показались нам неслыханной роскошью. Теперь уж можно было думать о серьезной творческой работе!»

Правда, некоторые оставили крайне противоположные воспоминания о посещении некогда известного центра Кольвано-Воскресенского горного производства Кабинета Его Императорского Величества. Характерны здесь заметки Лещенко-Сухомлиной, певицы и переводчицы, жены скульптора Цаплина:

«Мы наконец в Барнауле. Город — глухая дыра, огромное село, разбросанное на огромном расстоянии. У Аленушки (дочь Татьяны Ивановны) тяжелая корь, которую она подхватила где-то в дороге. Мы живем в малюсенькой комнатухе. Цаплин ноет, стонет, каркает, что мы сдохнем с голоду...»

Все эти сентенции мало имеют отношения к настоящему быту Барнаула, но вот суть многих человеческих перемещений передают довольно точно. Тем более, что настоящие трудности начинаются в жизни жителей города уже на второй год войны, когда записи прошлого года кажутся воспоминаниями из рая.

Ведь, кроме нытья о своих неудобствах, русская интеллигенция традиционно отмечает «сытости» и «достатки» обеденного стола. Потому сохранились от 1941-го нежные восторги о том, что «хлеб здесь отличный», «на рынке есть картофель, овощи, мясо, розовое барнаульское сало, по толщине не уступающее украинскому».

Тоска по украинскому салу вообще приятна, особенно прибывшему из центральной Украины умному человеку Галицкому...»

## Глава 19

### 1942 год, начало апреля, канун Пасхи

В начале апреля слёг в госпиталь. Местные врачи говорят, что это брюшной тиф. Мрак и скрежет зубный, всё раздражает и томит. Приходят сведения с войны — бои идут тяжёлые и это надолго. Уже точно надолго.

Неожиданно вспомнил, как собирались в августе у Образцовых. Ольга Александровна милейшая женщина, и муж её прекрасный человек. Образцов играет на гитаре бесподобно, тонко разбирается в архитектуре, как сказала о нём Татьяна Ивановна — «талантливейший человек».

А сегодня начался буран.

Не хочется ничего, словно летаргический сон охватил.

\*\*\*

Вчера проснулся и увидел у кровати Мари. Она рассказала, что приехали Таиров и Коонен.

А что я могу сейчас сделать? Мне встать-то тяжело, не то чтобы работать. Да и лечение не терпит волнений.

От волнений кашель начинает душить особенно яростно.

Как это сильно взводит, раздражение на себя, на кашель, на всю бессмысленность этой эвакуации и любой войны.

Господи, как же глупо всё, нелепая тривиальность грязных простыней и изжелтевшая кожа рук.

Взглянул на себя в зеркало и ужаснулся, Господи, как же я исхудал!

Наваждение какое-то, морок.

Приподнялся на кровати.

Сел.

Дышать стало немного легче.

\*\*\*

Вадим зло и даже как-то заодно представил лица своих коллег по культурно-литературным делам.

А ведь все они нахлебники, обычные паразиты. И никакой пользы в этих пьесах да водевилях нет и быть не может. Народ где-то всегда отсутствует в художественных фантазиях воспалённого сознания творцов любых художественно-высоких произведений.

Есть, конечно, весь необходимый набор элементов вроде патриотических речей главных героев, смерти за Отечество, верности трудному пути земного рабочего или рабочего земледельца, но это же всё только элементы.

Народа-то, народа как такового нет и никогда не было в этих бредовых и опасных своей заразительностью фантазиях.

Пушкин, Некрасов, Островский, да они народ так же, как и я сегодня, представляли, лубками да вышиванками, в хороводе да на ярмарках.

Вон ещё, Лев Николаевич, старец великий — да пустослов он великий, и ничего более. Вадим почувствовал, как горло схватывают спазмы кашля.

Мокрота забила дыхательные пути, и в нос ударил привкус гноистого гнилья.

\* \* \*

В коридоре госпиталя стоял стенд с размещавшимися на нём выпусками местной газеты «Алтайская правда». Сегодня вывесили свежий номер. Вадим хотя и трудно, но выходил иногда в коридорный культпросвет.

Сегодня сил не было, но Мари принесла ему свежий номер в палату. Особой рубрики для событий культуры газета не отводила, но последняя страница иногда содержала объявления о предстоящих или состоявшихся литературных мероприятиях. Там же, на последней странице, размещались некрологи.

Первая полоса свежего номера сообщила о количестве захваченных у врага танков, паровозов и прочей военной техники, потерях в человеческих ресурсах.

Здесь же всероссийский староста Михаил Калинин обращался с очередным посланием к товарищам председателям сельских Советов. Обращение Калинина состояло из хитросплетений наименований председателей колхозов и председателей сельских советов и изобиловало разъяснениями, кто есть кто и что это значит в практическом смысле слова.

После прочтения у Вадима только сильнее перепуталось в голове от попыток товарища Калинина что-то разъяснить, но успокаивала мысль, что разъяснения касались совсем других людей и, в принципе, никакого отношения к жизни поэта Шершеневича вроде бы не имели.

Также первая полоса сообщила в заголовке о том, что в германском тылу растут настроения тревоги и пессимизма, что в целом новостью не было и в той или иной форме сообщалось в газетах с самого начала, как только военные действия перебросились на советские территории. Потому и вторая страница с сообщением о волнениях на германских предприятиях была вполне логична и ожидаема.

После информации о крупных выигрышах по займам, где некий К. на сторублёвую облигацию по Государственному внутреннему займу 38-го года выиграл целых двенадцать с половиной тысяч рублей, а такой же некий Р. — пять тысяч, шли заключительные информационные сообщения:

«Литературно-художественное объединение.

По решению Алтайского Крайкома ВЛКСМ создается литературно-художественное объединение, с целью воспитания молодых литературных кадров и создания художественных литературных произведений, посвященных великой отечественной войне.

Уже создано оргбюро объединения в составе пяти человек. Первые работы объединения — выпуск боевых листовок с репертуаром агитбригад на посевной. В дальнейшем предполагается организация литературных вечеров на предприятиях и в клубах с выступлениями писателей, поэтов и артистов.

Объединение подготавливает выпуск альманаха».

Завершали выпуск два объявления об итогах предвесенних базаров и артистах на посевной. Вадим отложил газету и прикрыл устало глаза.

Господи, что же так тяжело-то?

## Глава 20

### Наши дни

Участница местного отделения Союза писателей Татьяна Кузнецова говорит, что лично знала женщину, у которой здесь, в эвакуации, на улице Денисова жил поэт Вадим Шершеневич. Но женщина та давно умерла.

Сегодня поехал по адресу «на гору».

От улицы Аванесова прошёл мимо здания-филиала первой городской поликлиники.

Частный сектор с маленькими и запутанными уличными своротками.

Улица Денисова относительно широкая. Хотя дома здесь чередуются так, словно уличное пространство пришиблено своим диким эстетическим видом. Сплошная эклектика в её нехитром выражении через социальное положение владельцев домов.

## Глава 21

### 1942 год, май, праздник Вознесения Господня

Вадим задыхался уже тихо и душно. Пережить май казалось невыносимо.

Мари редко приходила и сидела на табурете ближе к дверям. Рядом с кроватью

стояла простая деревянная тумбочка.

Тихо, так тихо иногда в окне жужжит пчела. Вот и пчёлы уже проснулись. Или это муха? Да бог весть.

Вспомнилось старое, когда однажды подумалось, что многих своих умерших знакомых так и не смог осознать как умерших. А себя? Себя умершего можно ли осознать?

Комнатная температура всё ближе к телу, всё роднее телу становится майская сырость и прохлада.

Вторая половина мая.

Ещё один год Второй мировой войны.

— Я думаю, что всё не напрасно.

Мария как-то некрасиво вздрогнула и посмотрела в сторону его кровати.

— Что? Что ты говоришь? — она сделала движение, чтобы подняться, но словно вспомнила о какой-то препятствующей для этого причине и только подалась немного вперёд, как будто не могла себя пересилить и подойти к кровати. По лицу проскользнула стыдливая судорога — она стыдилась большого, своего пребывания здесь, своего желания не приходить и не знать всего этого, но Мари почти мгновенно взяла мимику лица под контроль. Вадиму хватило этого микромига, но в душе не возникло обиды, ведь он всё понимал, он не хотел, чтобы она страдала.

— Ты иди, я здесь буду, — очевидные вещи звучали сейчас просто и ободряюще.

Она кивнула, осторожно встала с табурета и, дёрнув уголками губ в полуулыбке, сделала шагок к порогу. Замерла как бы в нерешительной неловкости и, чуть шевельнув кистью, попрощалась.

После Марии в воздухе витала какая-то незавершённость, и Вадиму подумалось, что по выздоровлении надо бы обязательно сделать наброски о своём пребывании в Барнауле.

Да, да, думал он, обязательно надо всё сделать. После.

Вот и Таиров приехал, а я расклеился, жизнь только развилась, а я уже разлётся намертво.

Он почувствовал в груди и горле подкатывающийся приступ кашля. Попробовал задержать дыхание. Тихо, осторожно начал набирать в лёгкие воздух и где-то на середине резко резануло по гортани.

Кашель страшно разодрал горло.

В голове началась паника. Вдруг вспомнил всех тех... Серёжа, Маяковский и вот... Юля, Юленька, Жюли...

Предали, все предали, слабаки... Нажать на курок любой дурак может, да и в петлю каждый залезть горазд. Вы что же сделали-то? Все, все потерялись. Все оказались слабыми. Остаться здесь, вот что надо было.

Вон Володя орал громче всех, Есенину написал «сделать жизнь» и всё остальное... А сам-то, сам? Оказался таким же слабым внутри, изломанным, маленьким, обидчивым ребёнком.

Все до одного, оказалось, бросили нас, предали нас.

Вы что же думаете, вы бросили себя, или что-то личное это? Нет, дорогие мои, вы всех нас бросили, всех нас предали. Подло и трусливо предали...

Хотя... — кашель накатил новой надсадной волной.

...хотя иначе предательства и быть не может, всегда только подлость да свинское самолюбие...

Житие из вас слепили по-быстрому, потому что ничего другого и нельзя с вас взять. С паршивой овцы с каждой по клоку вырвали да раструбили по всей стране, чтобы те, за кордоном, совсем про нас плохо не подумали. Так всё равно подумали, всё одно визг подняли кому надо, — и снова волна горячего, острого кашля.

А иначе что про такое можно сказать, кроме воя и визга истеричного? Один по пьянке на петле повис, да ещё так таинственно, странно, чтобы двусмысленность всегда сохранялась, трагедия невероятная. А второй, ну что это такое-то, в сердце из пистолетика, что за мальчишество? Полная инфантильность движения, актёрство сплошное, не поэт, а какой-то эгоистический младенец...

Голова разрывалась от раздражения, бормотали в ней какие-то голоса и дули ветры. Он знал, что на самом деле, это не просто раздражение. Он пытался преодолеть чувство собственной причастности к их слабости, но это никак не давалось.

Ведь кем был он сам?

Как он здесь оказался?

Интендант III ранга, приспособленец...

Клоун, артистишка дешёвый...

Спокойно, спокойно. Медленно, осторожно вдыхаем через нос, а потом так же медленно и осторожно выдыхаем через рот. Как говорили врачи, мне нельзя

нервничать, при болезни лёгких это очень опасно.

Спокойно. Если ты не трус и такой смелый, ты должен заботиться о своём здоровье. Ты должен отдавать себя туда, куда следует — народу, победе, фронту и всему остальному, к чему зовут тебя со всех сторон.

Мало ли, что ты там орал раньше, это всё перечёркнуто, а все володы и серёжи вместе с ними, со всеми прошлыми и слабыми. Да пускай они там и остаются.

Мало ли что сейчас происходит в твоей памяти. Главное то, что сейчас. Будь немного сильнее, может быть, даже ради них всех, слабых, никчёмных дураков. Хотя бы ради них будь чуть-чуть сильнее.

Но отчего не покидает чувство вины...

Словно я причастен к чему-то злomu и непоправимому...

Господи, как же мне плохо сейчас.

Вспомнился Брюсов, тот день, в котором Вадим прочитал ему своё, из «Лошади». Брюсов тогда заставил перечитать ещё раз и ещё...

По-настоящему хорошо! Завидно, что не я написал!

Господи, как это далеко было...

А я ведь не видел Брюсова в гробу...

Да и он меня не увидит...

## Глава 21

1942 год, 20 мая

Газета «Алтайская правда» от 19 мая 1942 года (№ 117), официальный некролог от Крайисполкома:

«Отдел искусств Алтайского Крайисполкома с глубокой скорбью сообщает о кончине члена Союза советских писателей СССР поэта, драматурга и переводчика Вадима Габриэлевича Шершеневича, последовавшей в городе Барнауле 18 мая сего года.

Вынос тела из помещения Крайдрамтеатра 20 мая, в 1 час дня».

\*\*\*

— Танечка, скажи, вот в этой шляпке я буду выглядеть хорошо? Как тебе она? — Мария Михайловна стояла перед зеркалом в тёмно-серебристой весенней шляпке, поправляя рукой выбивающиеся из-под чёрной вуалетки тёмные волосы.

Татьяна Лещенко-Сухомлина появилась рядом с Машей Волковой практически в последний месяц и сейчас даже не знала, как реагировать на происходившее. Всё выглядело ей какой-то фантазмагорией: военные действия, эвакуационные вагоны, невыносимый быт далёкого сибирского городишки, но особенно непонятным было сейчас пведение свежиспечённой вдовы поэта.

Недоуменно пожав плечами, ответила:

— Думаю, что хорошо.

Про себя Лещенко-Сухомлина переворачивала с ног на голову всё своё мнение об этой, как оказалось, совершенно легкомысленной особе.

«Воттварь-то! Вадим, умница, воспитаннейший человек, поэт просто изумительный, и надо же, такую дрянь ему бог послал в последние годы жизни. Ну разве нормальная женщина может спокойно заботиться о своей шляпке к похоронам мужа? Это же просто хамство откровенное».

Татьяна неестественно улыбнулась:

— Ты, Машенька, не беспокойся, там ведь все свои будут, переживать не о чем.

— Да, да, да, это хорошо, что свои, а то ведь так тяжело здесь, никаких условий, я прямо вот вся уже извелась. Ты знаешь, Танюш, ведь ещё в феврале Вадику плохо становилось, а никто даже и слова не сказал. Он сам-то ведь всё о поэзии, переводах этих, о разных каких-то теориях, — она всё поправляла перед зеркалом шляпку, то снимая, то вновь надевая, расправляя вуалетку. — Так увлечён был, так увлечён, что и не передать сейчас. Ужас просто какой-то. Даже на мои выступления времени у него не оставалось сходить, вот как человек работал для вот этого всего, — она неопределённо повела вокруг руками и манерно закатила глаза. — Ужас, совершеннейший ужас, а не жизнь. Оно, может, и лучше ему сейчас. А нам-то ведь ещё здесь неизвестно сколько погибать. Вот тебе и военное положение.

\*\*\*

Газета «Алтайская правда» от 19 мая 1942 года (№117), некролог от труппы Московского государственного Камерного театра под руководством А.Я. Таирова:

*«Памяти Вадима Шершеневича*

*В Барнауле, после тяжелой болезни, умер писатель-поэт, драматург, переводчик —*

*Вагим Габриэлевич Шершеневич.*

*30 лет он посвятил непрерывной литературной деятельности. Он оставил около сорока поэтических сборников, десятки переводов трагедий и комедий, около сотни переводов классических оперетт. Большой поэтический талант, высокая культура, разносторонняя эрудиция сочетались в В. Шершеневиче с удивительной работоспособностью.*

*Всегда и везде Вагим Шершеневич работал не покладая рук. Уже на Алтае, больной, он выступал почти ежедневно в самых разнообразных аудиториях с чтением своих стихов, посвященных великой отечественной войне, вел беседы о литературе. Здесь он закончил оригинальную антифашистскую пьесу и наново отредактировал свои поэтические переводы полного собрания сочинений стихотворений Бодлера и трагедии Корнела «Сид», над которыми он работал много лет. И при этом у него всегда находилось время для грузей. Он был прекрасным, благородным, преданным другом, незаменимым товарищем.*

*В. Шершеневич был прекрасным мастером поэзии, одним из лучших советских переводчиков, работы которого будут еще долго приносить радость читателям.*

*А. Таиров, А. Коонен, А. Богатырев, Н. Оттен, С. Лукашевич,  
О. Москвичева, Н. Николаев, Н. Ефрон, М. Цейтлина, Н. Чапыгин,  
С. Лучишкин, М. Поташинская, С. Гинзбург, А. Комаринский,  
С. Обухов, А. Стаккатов, Ю. Хмельницкий, А. Имберг».*

\*\*\*

В гробу все (и то правда) выглядят как-то одинаково. Примирительная каменность и неестественная масочность лица довольно страшна обывателю.

Окружающие гроб участники труппы Московского камерного театра выглядели измученными, но маски мертвеца не боялись. Им, в конце концов, каждодневно приходится иметь дело с масками человеческих лиц.

Актрисы и актёры, костюмеры, Таиров, Коонен, барнаульское кладбище — сцена подготовлена для последнего торжественного акта, шутовская игра окончена, они стоят и наблюдают торжественный финал постановки.

Таиров сказал добрую речь, помянул поэтические таланты покойника.

Выступил кто-то из руководства, подтвердил талантливость хоронимого, а в конце добавил, что «трудности наши временны», что «мы их обязательно преодолеем», «победа будет за нами» и ещё что-то такое значительное и воодушевляющее.

Закопали быстро и без эксцессов.

## Глава 23

### Наши дни

В барнаульском переулке имени Николая Михайловича Ядринцева сочетались неравным браком частные дома печного отопления и панельные советские многоэтажки. Ядринцевский начинался практически от Оби и, изламываясь километром пять неровными отрезками по городской карте, заканчивался в районе железнодорожного вокзала. В центре номерных адресов переулочка находилось здание Барнаульской духовной семинарии — переулок Ядринцева, 66.

Возможно, какой-то неясный символизм прослеживался в том, что в центре переулочка, названного в память писателя-самоубийцы, отведён сегодня один адрес для духовного образовательного учреждения. В конце концов, основная версия причин отравления Николая Ядринцева в 1894 году была неразделённая любовь к священной дочери Александре Боголюбской.

Разумеется, факт принятия Николаем Михайловичем яда в доме купца Сулина не стал основанием для наименования целой улицы. Но вот арест по делу «Общества Независимости Сибири» вполне тянул на закрепление почти революционного прошлого писателя-публициста в наименовании переулочка. Переулок так и не стал улицей, но уже целый век сохранялся в статусе попутного основным барнаульским проспектам. Попутчиков здесь всегда хватало.

— Слушай, отец Алексей, а что здесь раньше было, ну до семинарии?  
— Да много чего. Вообще здесь тубдиспансер был долго.  
— А в Великую Отечественную тоже тубики здесь содержались или как?  
— Вообще, официально-то туберкулёзных больных привозили сюда позже, но ты же понимаешь, у нас много чего официально, то позже, то раньше, то совсем не было, так что и тогда здесь много чего держали. Времена-то были тяжёлые, а если инфекция по заводам начнёт распространяться, ты представляешь каково это? Здесь же целые предприятия приехали в эвакуацию, а люди-то почти все наперечёт, вот и приходилось

закрывать чахоточных в таких госпиталях.

— А кроме врачей, кто к ним мог приходиться, может, какие-то, ну, я не знаю, культурные мероприятия были или там агитбригады?

— Само собой, не звери же. Это сейчас всё модно про кровавые советские дела сочинять, а тогда люди жили и ничего такого помыслить даже не могли. Вот я вроде должен как священник, по представлениям самым стереотипным, всячески осуждать до пены у рта советскую богоборческую историю. Так ведь часто рассуждают о попах-то сегодня, верно?

— Ну да, наверно, как-то примерно так и представляется по логике-то. Всё-таки и церкви ваши рушили, да сколько расстреляли. Уж явно расположения у церковников к советской стране не прибавляется, если там такое было.

— Грех, он, что тогда, что сегодня, а всё одно. Мне грех положено отвергать, а история вся какая есть, она вся наша общая, и церкви, и народа, и всей России с её правителями и купцами. Отвергаем-то не историю, а грех, вот что важно.

— А здесь, что здесь, в здании этом? В смысле, здесь история была или грех один?

— Здесь стены многое тяжкое повидали. В подвале до сих пор в стенах замурованы те горести. Открытая форма туберкулёза тогда быстро наступала у некоторых, вот их в подвал и помещали. Сюда и заходить-то опасно было, а уж работать так совсем невозможно. Врачи одни в основном и оставались для больных родными людьми. Да вот эти культбригады, они редко, но всё же бывали здесь, чтобы людям немного укрепления душевного дать, порадовать песней, может стихом каким. Когда священнику не позволено, так оно словом хотя бы таким, от искусства, что ли, или как-то вот так, но чтобы у человека душа посветлела немного перед смертным одром-то. Оно же ерундой такое утешение только здоровому или избалованному человеку покажется, а тогда... — священник перекрестился.

— Ты, отец Алексей, раньше вроде бы врачом был. Как-то несколько лет знакомы, а я всё не спрашивал у тебя, ты какой специальности врач-то?

— Фтизиатр. Диагностика, лечение, диспансерное наблюдение и профилактика туберкулёза — это моя специализация. В общем, лечащий врач для больных туберкулёзом лёгких.

На улице хлопьями валил сырой мартовский снег. Отец Алексей набросил на голову капюшон пуховика, стряхнул налипший снег с рукавов.

— Вот, такая погода и есть рассадник туберкулёза.

— Рассадник?

— Ну конечно. Март месяц. Конец февраля, начало марта, обострение всех хронических заболеваний, вспышки заражения, в том числе и лёгочными инфекциями. Для туберкулёза лёгких это самый сезон. Самая высокая смертность в тубдиспансерах как раз сейчас начинается. И так каждый год. Сезонность.

Давно, ещё во время интернатуры, по-первому времени, в общем, всё не мог никак принять вот этот факт высокой смертности. С таким студенческим, юношеским задором пытался делать всё правильно, думая, что только от правильности моих действий зависит всё, в том числе и жизнь человека. Гордыня. Гордыня, величайший грех человеческий, начало всех грехов. Все большие и малые человеческие катастрофы в основе имеют гордыню, а остальные грехи только прилагаются, как магнитом притягиваются злым к человеку.

Вот теперь здесь. Теперь иначе смотрю, но тяжело так же порой, а то и ещё тяжче. Наверное, побыв врачом тела, постояв рядом со смертью, рискнув собственной жизнью, я постепенно понял, что в чём-то мы не можем спасти человеческое тело, какими бы хорошими медицинскими средствами и знаниями мы бы ни обладали.

Многие, кто там, тогда умирали на моих глазах, словно сами не хотели жить. Точнее, выглядело так, будто бы они жить хотят, но сейчас я понимаю, что у тех, невыживших, словно заканчивался какой-то заряд. Препараты, труд врачей и медсестёр, питание и всё медицинское усилие оказывались бесполезными.

Порой человек умирал буквально вопреки всем нашим усилиям. Словно из больного вынимался стержень, словно отнимался какой-то у него смысл, словно пропадал какой-то фундамент, то основание, которое заставляет человека жить и выживать. И тогда таблетки, капельницы, порошки — всё пропадает напрасно. В таких случаях медицина действительно бессильна, и как бы врач ни старался, но больной упорно идёт туда, куда идёт.

Постепенно ты понимаешь эти вещи. Всё в руках Божиих. А человек должен быть соучастником, соратником в деле жизни, понимать наличие какого-то более высокого замысла, чем собственные планы, собственные, как правило, не такие значительные, цели. Понимать какую-то глубинную сущность своей жизни. И тогда, и только тогда, а я это видел сам, в, казалось бы, немислимых, невозможных ситуациях люди вдруг оживали, вдруг излечивались. Люди вдруг выздоравливали из того, из чего,

казалось бы, выздороветь невозможно.

Так человек словно вспоминает смысл, находит цель. И вот тогда он начинает жить. Жить по-настоящему.

Писатель молча смотрел на кучи снега и неожиданно спросил:

— А могли здесь вот так выздороветь люди тогда, в военное время?

— А какая разница, разве для обретения смысла жизни важно такое обстоятельство?

— Да, пожалуй, да.

Ещё помолчали.

— Отец Алексей, скажи, если человек, перенесший операцию с лёгкими, бывший туберкулёзник, пришёл бы в такой диспансер в среду больных, он же наверняка мог моментально опять заразиться?

— Ну, ты сам рассуди, если ты только выздоровел после гриппа и идёшь в помещение, где множество больных более тяжёлыми формами той же болезни, разве это не опасно?

— Да, поэт Шершеневич тогда, в 42-м, точно не имел шансов выжить.

— Он что, в госпиталях работал?

— Да не то чтобы работал, он там выступал с чтением стихов, разные переводы декламировал для больных и раненых. А в конце 20-х у него туберкулёз обнаружили, но вроде как сделали какую-то операцию и подлечили. Здесь же, в эвакуации, он был до 42-го, а умер от скоротечной чахотки. Выступал до последнего, думали вначале, что вообще тиф, а оказалось, что вот так, чахотка, да ещё и какая-то скорая форма.

— Кавернозный туберкулёз в тяжёлой стадии, или, что хуже, милиарный.

Опять помолчали.

Вдруг отец Алексей заговорил на, казалось, совершенно отвлечённую тему.

— Знаешь, есть некоторые виды экзотических жуков, которые откладывают огромное количество мягких, жучиных яиц. Из всего потомства выживают только самые удачливые, — батюшка поправил капюшон и опять смахнул с рукавов прилипшие снежные хлопья. — Сохраниться и выжить для яйца, личинки и маленького родившегося жучка примерно один шанс на сотню тысяч. По сути, сам факт его жизни уже есть чудо. Ирония заключается в том, что даже этот выживший и повзрослевший жук всё равно обречён погибнуть по окончании определённого сезонного цикла.

Понимаешь, дело вовсе не в том, что у этого существа заканчиваются силы. Оно даже не стареет в нашем обычном понимании. Просто заканчивается сезонный цикл, и даже самый выдающийся жук погибает быстро и неизбежно.

И только те из миллионов погибших, кто стал частью коллекции энтомолога, могут рассчитывать на своеобразное воскрешение. Ведь из раза в раз такого коллекционного жука с восхищением или любопытством разглядывают в доме энтомолога родственники, друзья, коллеги-специалисты.

А если коллекция хороша, то её передают в какой-нибудь музей, тогда к жуку вообще приходит слава, а имя его становится чем-то известным даже экскурсантам-школьникам.

Думаю, что и с поэтами так вполне может произойти, ведь на самом деле, чем они лучше каких-нибудь экзотических жуков?

## Глава 24

### Наши дни

В кафе играла какая-то невообразимая музыка. Мало того, что сам звук был чрезмерно громок, так ещё и кто-то сквозь фонетический гвалт все выкрикивал, призывая сделать музыку погромче.

«Всё нормально, всё хорошо», — писателю, в принципе, было наплевать, он наблюдал и замечал неизменности. Сменялись правители и политические режимы, общество то верило в бога, то свергало всех богов скопом, но одно оставалось неизменным — банкетный ритуал. Практика ритуального поедания и питья сохранялась в самых невыносимых ситуациях.

Ананасно-рябчиковое состояние постоянно мельтешило перед глазами писателя в окружающих лицах, сидящих за столом. За окнами творилось бог знает что, а здесь — раскрасневшиеся сытые лица писчей компании лезли друг другу в глаза, копошились и наперебой что-то там доказывали.

На десерт подавали шоколадные тортики и согревающий чай с острым перчиком в чайнике. Шоколадная корочка на тортиках была пластилиновой и невкусной, а от чая почти сразу началась изжога. Но судя по всему, большинству всё это жевание, икание и ковыряние в зубах казалось вполне себе достойным занятием. Впрочем, новостью это не являлось.

Напротив сидел завсегда́тай острых новостных колонок и по совместительству литературный критик — жирный и постоянно извергающийся вонючим потом гражданин. Вообще он называл себя многостаночником и всю жизнь сочинял передовицы для полуновостных, полужёлтых изданий. Скандалы, интриги, расследования и прочая лабуда отличали этот сорт культурологических экскрементов специальной потливостью похотливых импотентов. Кормился данный гражданин своим троллингом так усердно, что порой, казалось, у него пойдут от усердия пузыри из носа.

Блевота на полу и штанах, разноцветный винегрет, куски шоколадного торта — за столом сидела настоящая элита общества. Мерзкие, высокомерные, воняющие культурологическими испражнениями личности планировали свой рабочий день. Нажрались, напились, сходили в общий душ и довольные собой опять садились за стол.

— Есть там у меня темка одна, ехать надо только, — жирный крепко наелся и сыто ковырял вилкой в тортике.

— Там, короче, такая тема, баба одна попала жёстко под раздачу, бухали с ментами, то да сё, короче, в оборот пошла прямо по самое не хочу.

— А какие менты-то, погоны у них как, большие?

— Да там летёхи, да один капитан, старшим который.

— И чё, думаешь, наедут потом сильно, они чьи будут-то, под кем?

— Да нормально всё, я уже пробил, плакать по ним никто не станет, но бабки неплохие предлагают. Там, короче, надо вначале вроде как по-серьёзному, а потом по ходу дела. Если спустят, то всё спишетя, если на вид поставят, тогда добьём.

— А чё там с горчичниками, вроде же тоже можно неплохо тему приподнять?

— Да с ними всё не так просто, там госпиталь военный, не попадешь без спецсигнала, ну, вообще можно попробовать с их пресс-службой перетереть, может, им и надо чего сказать в наш эфир, для спокойствия своего, начальства и линии партии, — хохотнул и отрыгнул. — У них же там ни хрена не ясно, то ли ногу на задании оторвало, то ли по пьяни кто башку пробил. Короче, надо уточнять, а то проблем только будет. А вообще, по логике вещей, тоже подперчить не мешало бы тему.

Разговор шёл профессионально — с циничным спокойствием хирургов. Правда, у жирного порой сквозили в судорогах лицевых мышц то подёргивание щёк и какая-то мелкая суетливость, то застывшая каменистая мертвенность равнодушия. Жирный мучительно смахивал эти маски, но они возвращались вновь и вновь, словно преследовали его печатью очевидной бездарности.

Ряды сочинителей контрастно перемежались тощими и бочковатыми тётками, на чьих лицах навеки застыла видимость усталой привычки читать много и быстро.

Училка, школярская попутчица, одеревеневшая конторская сука — трудно было бы разделить застольных тёток только в одну из этих трёх категорий, но каждая подходила под все три. Несвятая троица зазубренных ипостасей была заверена в лицах официальной печатью членских билетов всех союзов писателей сразу.

Вся эта мутная компания царская, советская, русско-либеральная, православно-демократическая, всё это никчёмное, малоразвитое сообщество никогда и не уходило, оказывается, ни в какие подполья. Все подполья никогда не были оппозицией чему-либо, но всегда оставались дешёвыми рвачами и околотитературными проститутками. Провинция была не в географии, а в их головах.

Столицей в России всегда был человек, а не место обитания. Но от Москвы до Магадана, от Киевской Руси до РФ культура насквозь оставалась пропитана массовым и провинциальным. Журналы, газеты, телепередачи, новостные сайты — все они наполнялись тем же мещанским мелкобуржуазным контентом, что и при царе Горохе.

Мещанство и провинция уродливым мутантом сидели в головах так называемых «культурных» граждан с первого школьного сочинения, с любых вступительных экзаменов в литзаведения и прочие организации, что навязчиво вносили в свои заголовки слова «литература», «культура» и т. д., и т. п., и ёпэрэсэтэ.

Чего, гадины, вам всем надо от меня? Отвяжитесь, паскуды, отойдите от меня, мелкие распыщенные бесоконы! — в сердце горел яростный огонь, но рот был на замке. Писатель встал и вышел туда, на улицу, в вечно новый, в неизменно настоящий мир, где творилось бог знает что.

Гады, дайте, дайте мне только повод!

Но каждая гнида всегда будет тихо и осторожно сидеть в засаде, дожидаясь своего маленького часа славы. Региональный аспект, мать его, какой здесь, мля, мог быть модернист Шершеневич, только матерный!

\*\*\*

Хотя...

Панихида по Гумилёву. Да, там ещё так трагически-пафосно заканчивает

Шершеневич свои эквилибристические прыжки вокруг брусново-гумилёвских переключек с чем-то и между собой.

Вообще прав Вадим Габриэлевич, всем нам не очень-то хочется оказаться дурными пророками, да вот, увы, Кассандра, действительно, всегда права.

Кенотаф.

От дома остался только мысленный кенотаф, да и то лишь у того, кто знает, что искать.

В Барнауле, на улице Денисова сохранились все адреса домов со времён Великой Отечественной. Дома, конечно, перестроились и снеслись на некоторых номерах по два-три раза, но адреса остались неизменны.

Кроме одного.

Да, того самого, где жила Люба, где проживал во время эвакуации поэт Вадим Шершеневич, где Шершеневич числился живущим до дня своей смерти.

Сегодня есть номера соседних домов, но нет ничего между ними.

На соседнем с последним адресом Шершеневича месте оказался дом врача-хирурга, приличного и образованного человека. Он мне и рассказал, что когда-то тот дом Любы был продан, снесён, и теперь адрес есть только на бумаге, а по факту территорию разделили между соседями.

То ли синдром Кассандры, то ли кенотаф, бог весть.

\*\*\*

Воскресение памяти происходит очень-очень постепенно.

Словно тяжкий груз, трагическим спудом придавивший точку горестной кончины человека, вдруг поднимается и отбрасывается вскрытым пластом земли. Какие-то несколько десятков лет оказываются мелочью, ерундой, чем-то вроде ожидания в приёмной у истории. И вот открываются двери, и, казалось, погибший, человек отряхивает временную пыль с дорожного платья и входит на исторический приём.

Господи, я сам, подобно тому внезапному слепцу, иду на ощупь, иду не на свет, но хотя бы на тепло. Прозрение в том и заключается, чтобы понять собственную тьму, признать очевидный факт и оказаться невыносимо, постыдно глупым, пустым, бессмысленным сосудом.

Нет никакой возможности для материи стать светом, нет ни физической, ни другой константы, чтобы головным прибором преодолеть мир до света. Но есть память, и есть надежда. Как бы ни затаскали эти незыблемые столпы человеческого существования, но кроме них ничего нет и быть не может.

\*\*\*

Начало мая выдалось сухим и солнечным. Постепенно снятое землёй с себя студёное сонное одеяло зимы давно протаяло. Всё вокруг замирало и двигалось этим пропитанным свежающим осознанием пробуждения.

Ленинский проспект сибирского города Барнаула пах бензином и цветущими яблонями — он громыхал и продолжался своей непрекращающейся жизнью.

Вчера вечером прошёл случайный лёгкий дождь, и оттого проспект, плоскости рекламных баннеров, цветущие парки и вообще всё уличное, незапертое смотрело свежо и разноцветно.

Даже набухающая автомобильными телами асфальтовая полоса поднималась от Речного вокзала в сторону городского центра, чем-то схожая с речным потоком Оби, а машины плыли по течению вверх и вниз, неся внутри человеческие планы на нынешнее и грядущее.

\*\*\*

В холле главной библиотеки Алтайского края висело объявление:

«20 мая (воскресенье) в 13.00 часов состоится творческий вечер молодых писателей Барнаула, посвящённый поэту Вадиму Шершеневичу»

Ниже, курсивом, на большую половину листка с объявлением стояла размашистая цитата из стихов московского Цицерона, щегольски выхолощенного, с громадным, резко-металлическим голосом, главного оппонента Маяковского — поэта Вадима Шершеневича:

*«Теневой стороной пробираюсь, грустя, по годинам.  
Задувает ветер тонкие свечи роз.  
Русь! Повесь ты меня колдовским талисманом  
На белой шее твоих берез».*